

Марк ТВЕН

**АМЕРИКАНСКИЙ
ПРЕТЕНДЕНТ**



Annotation

Невероятные приключения ожидают молодого английского графа Росмора на просторах далеких Соединенных Штатов. В поисках «американской мечты» он находит своего дальнего родственника, «гениального» изобретателя, предпринимателя и чревовещателя – полковника Мельберри Селлерса, главным проектом которого была покупка Сибири для устройства в ней республики.

На пути к цели у амбициозного юного графа встанут непреодолимые трудности. Ему предстоит стать художником, постоять за свою честь в уличной драке, «погибнуть» в огромном пожаре, стать «материальным духом» и, наконец, обрести любовь всей своей жизни.

Иллюстрации: Дэн Берд и Хал Херст.

Перевод: П. Сойкин

-
- [Марк Твен](#)
- [ОТ АВТОРА ПОГОДА В ЭТОЙ КНИГЕ](#)
-
- [ГЛАВА I](#)
-
- [ГЛАВА II](#)
- [ГЛАВА III](#)
- [ГЛАВА IV](#)
-
- [ГЛАВА V](#)
-
- [ГЛАВА VI](#)
- [ГЛАВА VII](#)
- [ГЛАВА VIII](#)
- [ГЛАВА IX](#)
- [ГЛАВА X](#)
- [ГЛАВА XI](#)
-
- [ГЛАВА XII](#)
- [ГЛАВА XIII](#)
- [ГЛАВА XIV](#)

- [ГЛАВА XV](#)
- [ГЛАВА XVI](#)
- [ГЛАВА XVII](#)
- [ГЛАВА XVIII](#)
- [ГЛАВА XIX](#)
- [ГЛАВА XX](#)
- [ГЛАВА XXI](#)
- [ГЛАВА XXII](#)
- [ГЛАВА XXIII](#)
-
- [ГЛАВА XXIV](#)
- [ГЛАВА XXV](#)
-



Марк Твен

Американский претендент

ОТ АВТОРА ПОГОДА В ЭТОЙ КНИГЕ

В этой книге нет никакой погоды. Это опыт выпуска в свет книги без погоды. Такая попытка впервые предпринимается в области изящной литературы. Она может потерпеть провал, но упрямому и предприимчивому человеку она могла показаться соблазнительной, и вот автор как раз и вздумал попытаться.

Иной читатель, пожалуй, и не прочь бы прочитать всю книгу, но, узнав, что в ней нет указаний погоды, не станет этого делать. А между тем ничто так не подсекает полет мысли автора, как эта возня с погодой чуть не на каждой странице. Но эти беспрестанные возвращения к погоде тягостны и для автора, и для читателя. Положим, погода должна быть указываема при рассказе о человеческой деятельности. Это так. Но ее надо вставлять там, где она не загромождает дороги, где не прерывает потока повествования. И она должна быть самая подходящая, настоящая, какую ей надлежит быть, а не каким-нибудь жалким любительским изделием. Ведь погода – это совсем особая писательская специальность, и неопытная рука не должна браться за ее изображение, потому что не сделает из нее хорошей статьи.

Автор может начертать лишь картины самой заурядной погоды, он не может это сделать как следует. Поэтому автору казалось, что будет всего благоразумнее для читателя позаимствовать такую погоду, какая необходима для книги, от общепризнанных и прославленных специалистов.

...

Марк Твен

Гертфорд. 1892

ГЛАВА I

Бесподобное деревенское утро в Англии. Перед нами, на живописном холме, величавое здание: увитые плющом стены и башни Кольмондлейского замка – колоссальный памятник, свидетель баронского величия средних веков. Это одно из поместий графа Росмора, обладателя неимоверно длинного титула, двадцати двух тысяч акров земли в пределах английского королевства, целого прихода в Лондоне с двумя тысячами домов и ежегодной ренты в двести тысяч фунтов стерлингов. Отцом и основателем этого гордого старинного рода был некто иной, как Вильгельм Завоеватель своей собственной персоной, но имя первой прародительницы графов Росмор не попало на страницы истории, так как их союз являлся лишь случайным и незначительным эпизодом в жизни великого мужа, а героиня его была чем-то вроде дочери кожевника из Фалеза.

В столовой замка, в упомянутое нами восхитительное, прохладное утро, находятся всего два лица да остатки остывающего завтрака. Один из присутствующих – старый лорд, высокий, прямой, седоволосый, с суровым лбом; каждая его черта, поза, движение носят отпечаток твердой воли, и в семьдесят лет он бодр, как пятидесятилетний. Другой – его единственный сын и наследник, молодой человек с задумчивыми глазами. На вид ему не больше двадцати шести лет, на самом же деле без малого тридцать. Он – живое воплощение доброты, честности, простодушия, скромности, искренности. Сопоставив такие качества с его высоким званием, вы невольно сознаетесь, что перед вами какой-то ходячий анахронизм – агнец в бранных доспехах. А имя у него действительно громкое: сиятельный Киркудбрайт-Ллановер-Марджиорибэнкс-Селлерс, виконт Берклея из Кольмондлейского замка в Варвикшире (произносится К'кубри Тлановер Маршбэнкс Селлерс виконт Берклэ из Кемлейского замка Вварикшр). Он стоит у высокого окна с видом почтительного внимания к тому, что говорит отец, и не менее почтительного несогласия с доводами и аргументами старика. Последний во время речи прохаживается по комнате, очевидно, горячась.

– При всей твоей мягкости, Берклея, я знаю, что если ты однажды забрал себе в голову какую-нибудь ахинею на основании своих понятий о чести и справедливости, то тут не помогут (по крайней мере, на время) никакие убеждения. Ты останешься глух и к насмешкам, и к доказательствам, и к приказаниям. По-моему...

– Отец, если вы захотите взглянуть на дело, отбросив в сторону предрассудки, вполне беспристрастно, то не можете отрицать, что я решился на этот шаг не опрометчиво, не из пустого каприза и без всякого разумного основания. Ведь не я создал американского претендента на графский титул Росморов; я не гонялся за ним, не выкапывал его, не навязывал вам. Он отыскался сам собою, чтобы вмешаться в нашу жизнь...

– И сделать мою каким-то чистилищем, благодаря своим несносным письмам, пустым разглагольствованиям, целым кипам нелепых доказательств.

– С которыми вы никогда не согласитесь познакомиться. А между тем он все-таки имеет право на то, чтобы его выслушали, хотя бы на основании простой справедливости. Разбор его писем доказал бы, что этот человек или действительно граф – и тогда мы знали бы, чего держаться, – или опровергнул бы его претензии, что также послужит к устранению всяких недоразумений относительно нашего образа действий. И я прочел его переписку, милорд, я познакомился с нею, добросовестно вникнув в самую суть дела. Цепь приводимых им доказательств кажется мне совершенно полной, в ней нет ни одного недостающего звена, которое имело бы важное значение. По-моему, он настоящий, действительный граф Росмор...



– А я узурпатор, нищий без имени, бродяга? Вдумайтесь хорошенько в то, что вы говорите, сэр.

– Но если он настоящий граф, – допустим, что этот факт будет доказан, – неужели вы согласились бы, отец, неужели вы могли бы незаконно пользоваться его титулом и поместьями хотя бы один день, один час, одну минуту?

– Ты мелешь глупости: все это бессмыслица, непроходимый вздор! Выслушай меня. Если хочешь, можешь назвать мои слова в некотором роде признанием. Я не читал глупых писем из Америки, потому что не имел в том надобности: я был знаком с их содержанием еще при жизни отца

теперешнего претендента и моего собственного, сорок лет назад. Предки этого сутяги давали знать о себе моим предкам в продолжение полутора лет. Дело в том, что законный наследник нашего рода действительно отправился в Америку вместе или почти одновременно с наследником Ферфаксов, но застрял где-то в дебрях Виргинии, женился и начал размножать потомство дикарей – для поставки пресловутых претендентов. Домой он не писал, его сочли умершим, и младший брат преспокойно воспользовался наследственными правами. Однако после смерти американского переселенца его старейший представитель потребовал – письменно – признания себя наследником. Письмо это цело до сих пор. Впрочем, и он помер, прежде чем дядя, вступивший во владение имуществом, нашел время, а, пожалуй, и почувствовал охоту ответить ему. Малолетний сын упомянутого старейшего представителя вырос, – на то понадобился порядочный промежуток времени, – и, в свою очередь, занялся писанием писем, приведением доказательств. Таким образом, один преемник за другим проделывал то же самое, кончая теперешним болваном. Это было поколение нищих; ни у одного из них не хватало средств для того, чтобы приехать в Англию или формально начать иск. Ферфаксы сохранили свой титул до настоящего времени и не теряли его никогда, хотя и остались жить в Мерилэнде; но упомянутый претендент утратил право на звание лорда по своей собственной небрежности. Теперь ты видишь, как сложились обстоятельства. Морально американский бродяга может быть признан действительно графом Росмором, но легально он имеет столько же прав на это звание, сколько и его собака. Ну, довольно ли с тебя, наконец?

Наступило молчание. Сын взглянул на фамильный герб, вырезанный на большом дубовом колпаке камина, и сказал тоном сожаления:

– С введения геральдических символов девизом этого дома было: *Suum cuique* – Каждому свое. По вашему собственному смелому признанию, милорд, оно обратилось в сарказм. Если Симон Латерс...

– Ах, оставь, пожалуйста, про себя это противное имя. Десять лет оно торчало у меня бельмом в глазу и до такой степени прожужжало мне уши, что иногда при звуке собственных шагов я слышу ритмическое повторение: Симон Латерс! – Симон Латерс! – Симон Латерс! – Чтобы увековечить эти два слова в моей душе, начертать их в ней неизгладимо, ты решился... Впрочем, на что, бишь, такое ты решился?

– Поехать к Симону Латерсу в Америку и поменяться с ним местами.

– Что? Уступить ему свои права на графскую корону и владения Росморов?

– Да, таково мое намерение.

– Сделать эту неслыханную уступку, даже не предложив его фантастического иска на обсуждение палаты? Да-а... (нерешительно и в некотором смущении). – Клянусь честью, это презабавно! Вы, кажется, рехнулись, любезный сынок. Впрочем, дело ясно: вы опять начали водить знакомство с этим ослом, или, если хотите, с этим радикалом, – что одно и то же, – с лордом Тэнзи из Тольмеча.

Сын не ответил ни слова, и старый лорд продолжал:

– Молчишь – значит, сознаешься? Хорош приятель, нечего сказать! Вертопрах, молокосос, позор своей семьи и своего сословия. Для него все наследственные титулы и права – противозаконный захват, благородное происхождение – пустая мишура, дворянские привилегии – мошенничество, всякое неравенство общественного положения – узаконенное преступление и гнусность, а честный кусок хлеба только тот, который заработан личным трудом... Трудом!.. Пхэ! – И старый патриций потер свои белые руки, точно желая смыть с них воображаемую грязь от черной работы. – Надо полагать, что ты перенял у него эти похвальные убеждения! – заключил старик с презрительной насмешкой.

Легкая краска ударила в лицо виконта, доказывая, что язвительные слова попали в цель, однако он отвечал с большим достоинством:

– Да, вы правы, – действительно, перенял. Я не отрекаюсь от этого и не стыжусь. Теперь вам достаточно ясна причина, побуждающая меня добровольно отказаться от графского наследства. Я устраниюсь от того, что нахожу ложным существованием, ложным положением, и хочу начать новую жизнь честным образом, опираясь только на свое личное человеческое достоинство, как подобает мужчине, и не пользуясь никакими вымышленными преимуществами. Я добьюсь успеха лишь благодаря собственным силам или потерплю неудачу, если у меня не хватит на это умения. Вот почему я намерен отправиться в Америку, где все люди равны и каждый имеет одинаковые шансы. Я хочу жить или умереть, всплыть на поверхность житейского моря или утонуть в нем, выиграть или проиграть, как подобает человеку, разумному существу, но не намерен цепляться за призрачные права.

– Вот оно что. – Отец и сын с минуту смотрели друг другу прямо в глаза; потом граф Росмор прибавил с ударением: – Рех-нул-ся, ну, положительно, рехнулся! – После новой паузы он заметил, однако, переменив тон и впадая в прежнюю иронию: – Ну, что же! Из этого выйдет хоть что-нибудь путное: когда Симон Латерс приедет сюда, чтобы водвориться в нашем замке, я утоплю его в пруду, где поят лошадей.

Бедный малый – всегда такой подобострастный в своих письмах, такой жалкий и почтительный! Какое уважение выказывает он нашему знатному роду и высокому положению, как старается задобрить нас, чтобы мы признали его своим родственником, в жилах которого течет наша благородная кровь. И в то же время до чего он беден, убог в своем истертом платье и истоптанной обуви, как издевается над ним нахальная американская чернь за его дурацкую претензию на графский титул и богатое наследство! Пошлый низкопоклонник, отвратительный бродяга! Сто́ит прочесть одно из его раболепных писем, которые возбуждают во мне тошноту... Что тебе надо?

Последние слова относились к нарядному лакею в камзоле огненно-красного плюша с блестящими пуговицами, в коротких панталонах до колен и ослепительном белье. Он стоял в почтительной позе, плотно сдвинув каблуки, подавшись вперед верхней частью туловища, и держал в руках поднос:

– Письма, милорд.

Милорд взял их, и слуга удалился.

– Вот как раз одно из Америки. От бродяги, конечно. Боже, какая метаморфоза! Уж не прежний конверт из бурой оберточной бумаги, стянутой где-нибудь в лавчонке и с реестром товаров в углу. Нет, теперь все как следует, да еще вдобавок с траурным ободком – вероятно, у него издох любимый кот, потому что ведь этот почтенный джентльмен, насколько мне известно, холост! Запечатано красным сургучом, печать не меньше полукроны, а на ней наш герб-девиз и все остальное. Да и почерк совсем не тот. Адрес написан четко и грамотно. Верно, у него завелся секретарь для красноречивых посланий. Надо полагать, что наша счастливая звезда не померкла и по ту сторону океана. По крайней мере, с оборванцем произошло волшебное превращение.

– Пожалуйста, милорд, прочтите его письмо.

– На этот раз охотно... чтобы сделать честь издохшему коту.

...

«2-го мая. 14, 42, Шестнадцатая улица.

Вашингтон.

Милорд!

*Вменяю себе в печальную обязанность известить
Вас о кончине главы нашего знаменитого рода.*

Высокочтимый, высокоблагородный и могущественный Симон Латерс, граф Росмор, скончался одновременно со своим (фатом-близнецом, в своей резиденции близ деревеньки Деффис-Корнерс, в великом старинном штате Арканзас. (Наконец-то! Вот приятная новость, сын мой!) Их обоих задавило бревном при постройке коптильни, причиной чему была беспечность присутствующих, которые чересчур развеселились и напустили на себя излишнюю удаль, вследствие неумеренного употребления кислой браги. (Да здравствует кислая брага! Хоть я и не имею о ней ни малейшего понятия. Честь и хвала этому пойлу, не так ли, Берклея?) Случилось это пять дней назад, и на месте печальной катастрофы не было ни единого представителя нашего славного дома для того, чтобы закрыть глаза графу Росмору и оказать его праху подобающие почести, как того требует историческое имя и высокое звание покойного. Собственно говоря, оба они с братом лежат пока в леднике – и друзья собирают деньги на их погребение. Но я воспользуюсь первым удобным случаем переслать к Вам их благородные останки (Великий Боже!), чтобы они с подобающими церемониями и торжественностью были преданы земле в фамильном склепе или в мавзолее нашего родового замка. В то же время я выставлю траурные флаги на лицевом фасаде своего жилища, что, конечно, сделаете и Вы в своих многочисленных поместьях.

Теперь же уведомляю Вас, что, вследствие вышеупомянутой печальной катастрофы, я, в качестве единственного ближайшего родственника, нераздельно наследую по закону все титулы, привилегии, земли и имущества почившего, а потому, хотя мне это крайне прискорбно, буду в скором времени ходатайствовать перед палатой лордов о восстановлении моих, несправедливо присвоенных Вами, прав.

Свидетельствуя Вам свое глубочайшее почтение и горячую родственную преданность, остаюсь, милорд, готовый к услугам Вашим

Мельберри Селлерс, граф Росмор».

– Непостижимо! Презабавный, однако, субъект. Право, Берклей, дурацкая наглость этого франта, ну, наконец... колоссальна, сногшибательна, великолепна!

– Да, этот, по-видимому, не раболепствует.

– Какое! Он не имеет и понятия о том, что такое раболепство. Траурные флаги! Чтобы почтить память плаксивого оборванца и его дубликата! И он собирается послать мне их останки. Умерший претендент был полоумный, а этот, новый, уж совсем маньяк. И что за имя! Мельберри Селлерс! Но для тебя оно, пожалуй, звучит слаще музыки. Симон Латерс-Мельберри, Селлерс-Мельберри, Симон Латерс. Ни дать ни взять стучит скрипучая машина. Симон-Латерс-Мельберри-Сель... Ты уходишь?

– С вашего позволения, отец.

Старик постоял немного в задумчивости после ухода сына. «Добрый мальчик и достойный похвалы, – сказал он себе. – Пускай делает что хочет. Противодействие не приведет ни к чему, а только сильнее озлобит его. Ни мои доводы, ни убеждения тетки не подействовали на этого сумасброда. Посмотрим, не выручит ли нас Америка, не образумит ли господствующее там равенство и суровая жизнь немного тронувшегося юного британского лорда? Хочет отказаться от своего звания и стать просто человеком. Недурно!»

ГЛАВА II

Полковник Мельберри Селлерс – то было за несколько дней до отсылки им пресловутого письма лорду Роем ору – сидел в своей «библиотеке», которая в то же время играла для него роль гостиной, картинной галереи и мастерской. Смотря по обстоятельствам, он называл ее то одним, то другим из этих имен. Хозяин мастерил какую-то хрупкую механическую игрушку и был, по-видимому, поглощен своим занятием. Теперь он поседел, как лунь, но в других отношениях остался таким же юным, подвижным, пылким, мечтательным и предприимчивым, как прежде. Его любящая жена-старушка сидела возле него с довольным видом и вязала чулок, а на коленях у нее дремала кошка. Комната у них была просторная, светлая, уютная, с отпечатком домовитости, несмотря на скудное и незатейливое убранство и недорогие безделушки, служившие ей украшением. По углам и на окнах зеленели комнатные растения, и во всей обстановке было что-то неуловимое, неосязаемое, что обнаруживало, однако, присутствие в доме человека с хозяйственным вкусом, заботливо относившегося к своему жилищу.

Даже убийственные хромотографии по стенам не портили общего впечатления. Они оказывались тут на месте и усиливали привлекательность комнаты, притягивали взор именно своей несуразностью. Вы, конечно, видывали подобные картины. Одни из этих лубочных произведений искусства представляли ландшафты, другие – морские виды, а некоторые были портретами, но все отличались замечательной уродливостью. Портреты изображали умерших американских знаменитостей, однако в коллекции полковника, благодаря смелым поправкам, эти великие люди сходили за графов Росморов. Самый новейший из них увековечивал черты Эндрю Джексона, но здесь его преспокойно выдавали за «Симона Латерса, лорда Росмора, теперешнего представителя графского дома». На одной стене висела дешевая карта железных дорог Варвикшира. Под нею недавно была сделана подпись: «Владения Росморов», а напротив красовалась другая, служившая самым величественным украшением библиотеки и прежде всего бросающаяся в глаза своими размерами. Раньше на ней было написано просто: «Сибирь», но впоследствии перед этим словом было прибавлено: «Будущая». Тут встречались и другие дополнения, сделанные красными чернилами: множество городов с громадным населением, рассыпанных в виде точек в таких местах, где в данное время расстилаются

необъятные тайга и пустыни без всяких обитателей. Эти фантастические города носили нелепые и невероятные названия, один же из них, необыкновенно густо населенный и помещавшийся в центре, был обведен большим кружком, и под ним значилось: «Столица».



«Отель» – как с важностью величал свое жилище полковник – был старым двухэтажным строением довольно больших размеров; в былые времена его, конечно, красили и перекрашивали, теперь же все это давно отошло в область воспоминаний. Стояло здание на окраине Вашингтона и, вероятно, служило прежде дачей. Запущенный двор, с покосившимся местами забором и запертыми воротами, окружал этот дом. У парадного крыльца виднелось несколько скромных вывесок. Главная из них гласила:

«Полк. Мельберри Селлерс, стряпчий и ходатай по судебным делам». Другая сообщала, что хозяин отеля был «материализатор, гипнотизер, психиатр» и т. п., словом, человек на все руки.

В комнату вошел седоголовый негр в очках и дырявых белых нитяных перчатках, вытянулся в струнку и доложил:

– Мерс Вашингтон Гаукинс, сэ (сэр).

– Господи Боже! Проси его, Даниэль, проси к нам скорее.

Полковник и его жена вскочили с места и в следующую минуту радостно пожимали руку рослому господину, который смотрелся каким-то пришибленным. С виду ему можно было дать пятьдесят лет, но, судя по волосам, и все сто.

– Прекрасно, прекрасно, Вашингтон, что ты вздумал навестить старых знакомых. Ну, садись, дружище, и будь как дома. Э, да ты смотришься молодцом. Постарел немножко, впрочем, самую малость; тебя сейчас можно узнать, не правда ли, Полли?

– Как же, как же, Берри; он теперь вылитый покойный батюшка, как сейчас его вижу. Этакая оказия, откуда вас Бог принес? Какими судьбами? Сколько, бишь, мы с вами не виделись? Дайте вспомнить...

– Да уж годков пятнадцать, миссис Селлерс.

– Скажите, как летит время. А как много с тех пор воды утекло, сколько перемен.

Ее голос оборвался, губы дрогнули. Мужчины в почтительном молчании выжидали, пока она оправится, чтобы продолжить свою речь. Однако после легкой борьбы с собою хозяйка повернулась, прижимая передник к глазам, и тихими шагами вышла из комнаты.

– Встреча с вами напомнила ей, бедняжке, о детях, – заметил муж, – ведь они у нас все поумирали, исключая самой младшей. Однако прочь заботы – теперь не до них. Давайте лучше плясать; радость не должна омрачаться – таков мой лозунг. И есть ли от чего плясать, есть ли чему радоваться, – все это, в сущности, безразлично, но когда человек весел, он всякий раз становится здоровее, всякий раз, Вашингтон, уверяю тебя; я говорю по собственному опыту, а ведь уж, кажется, доводилось мне в жизни видеть виды. Скажи, однако, где ты пропадал все эти годы, и оттуда ли теперь, или из другого места?

– Ни за что не догадаетесь, полковник. Из Чироки-Стрип.

– С моей родины!

– Так же верно, как то, что я стою перед вами.

– Ну, нет, однако. Ведь не живешь же ты там?

– Конечно, живу, если можно назвать жизнью убогое существование

впроголодь, когда все надежды разбиты, а бедность одолевает тебя во всех видах и смотрит из всех углов.

– А Луиза тоже при тебе?

– И она, и дети.

– Остались там?

– Да, ведь не тащить же мне их с собою.

– О, теперь дело ясно: ты приехал сюда хлопотать о чем-нибудь перед правительством. У тебя тяжба? Будь покоен, я все улажу.

– Что вы! Никакой нет у меня тяжбы.

– Право? Ну, так хочешь сделаться почтовым чиновником? Отлично! Предоставь уж это мне. Все будет устроено.

– С чего вы взяли! Я вовсе и не думал поступать в почтовое ведомство.

– Ну, так чего же ты скрытничаешь, дружище? Как тебе не стыдно? Неужели ты боишься открыться старому испытанному другу, Вашингтон? Или, по-твоему, я не сумею сохранить тай...

– Какая тут тайна, пощадите! Вы просто не дали мне...

– Полно зубы-то заговаривать. Я ведь сам тертый калач и знаю, что если человек приехал в Вашингтон, и если он не с неба свалился, а прибыл хоть бы из Чироки-Стрип, значит, ему чего-нибудь надо. Далее я знаю также, что он не добьется желаемого – это верно, как дважды два четыре, – потом останется здесь и начнет хлопотать о другом, опять получит шиш, и так будет продолжаться до бесконечности, пока он не истощит всех своих ресурсов и не дойдет до такого бедственного положения, что ему будет стыдно показаться домой, даже и в Чироки-Стрип. Наконец, сломленный нуждой, этот пришелец отдаст Богу душу, и его похоронят как-нибудь в складчину добрые люди. Вот, например... не перебивай меня, я знаю, что говорю. Уж мне ли не везло на дальнем Западе, помнишь? В Гаукее я был первым лицом, все взоры устремлялись на меня, я считался чем-то вроде самодержца, ну, положительно-таки самодержца, Вашингтон! Прочили меня в посланники при сент-джемском дворе: губернатор и все остальные настаивали на том, прохожу мне не давали, ведь ты сам знаешь. Ну, делать нечего, я согласился, приехал сюда, но опоздал всего на один день, дружище. Подумай, каково это, и какие ничтожные обстоятельства влияют порою на историческую жизнь народов. Да, сэр, место было уже занято. А между тем я очутился здесь. Пришлось пойти на компромисс, и я предложил, чтобы меня послали в Париж. Президент был в отчаянии, ужасно извинялся, однако назначение на это место не состоялось. И вот я опять остался на бобах. Помочь горю было решительно нечем; оставалось поубавить немного своих претензий – для каждого из нас рано или поздно

наступает день, когда необходимо смириться перед судьбою, да и в этом нет большой беды, Вашингтон. Итак, я смирился и стал просить места посланника в Константинополе. Поверишь ли, не прошло и месяца, как я соглашался уже отправиться в Китай, клянусь тебе честью, а месяц спустя выпрашивал назначение в Японию. Прошел год, я спускался все ниже, ниже, умоляя со слезами, чтобы мне дали какое-нибудь штатное место внутри страны, хотя бы должность приемщика кремней в складах военного ведомства... И, клянусь Георгом, мне и тут не повезло!

– Приемщика кремней?

– Да. Эта должность была учреждена во время революции, в прошлом столетии. Ружейные кремни поставлялись для военных постов из крепости. Так оно и осталось до сих пор. Хотя кремневые ружья вышли из употребления, и самые форты обрушились, но декрет не был уничтожен – его просмотрели или позабыли – так что опустевшие места, где стояла когда-то старинная Тикондерога и другие укрепления, по-прежнему ежегодно получают положенные им шесть кварт ружейных кремней.

Вашингтон задумчиво заметил после некоторой паузы:

– Как это странно: метить на пост посланника в Англии с окладом в двадцать тысяч фунтов и спуститься до места приемщика ружейных кремней на жалованье...

– По три доллара в неделю. Такова человеческая жизнь, Вашингтон, с ее честолюбивыми стремлениями, борьбой и конечным результатом: метишь во дворец и очутишься в канаве.

Друзья задумались и замолчали. Потом гость сказал тоном искреннего сожаления:

– Итак, приехав сюда против собственного желания, единственно с тем, чтобы исполнить долг патриота и удовлетворить эгоистическим требованиям своих сограждан, вы не получили за это решительно ничего?

– Ничего? – полковник даже вскочил от удивления. – Ничего, говоришь ты? А позволь тебя спросить, Вашингтон: быть несменяемым, и единственным несменяемым членом дипломатического корпуса, аккредитованным в величайшей стране на земном шаре, по-твоему, ничего?

Тут наступила очередь Вашингтона онеметь от удивления. Он не мог произнести ни звука, но широко раскрытые глаза и почтительное восхищение, выразившееся на его лице, говорили красноречивее всяких слов. Оскорбленное самолюбие полковника улеглось, и он опять сел на прежнее место, спокойный и довольный. Подавшись вперед, хозяин заговорил с ударением:

– Что приличествовало человеку, прославившемуся навеки своим

опытом, беспримерным в мировой истории? Человеку, ставшему, так сказать, священным по своему несменяемому положению в дипломатии, так как он временно соприкасался через свое домогательство с каждым дипломатическим постом в регламенте нашего правительства, начиная с поста чрезвычайного посланника и полномочного министра при сент-жемском дворе и кончая должностью консула на одной скале из гуано в проливах Зунда – где выдача жалованья производится не деньгами, а натурой, то есть тем же гуано. Остров этот исчез вследствие вулканического потрясения как раз за день до того, когда дошла очередь до моего имени в списке кандидатов на эту вакансию. Конечно, такое лицо, говорю я, имело право на царственные почести, соответственно обширности пережитого им и достопамятного опыта. И я получил то, что приличествовало мне по заслугам. Согласно единодушному решению здешнего общества, по требованию всего народа, – этой могучей силы, отвергающей порою и законы, и законодательство, на декреты которой не подается никаких апелляций, – я был утвержден в звании несменяемого члена дипломатического корпуса, являющегося представителем многоразличных государств и цивилизаций земного шара при республиканском дворе Соединенных Штатов Америки. После этого меня привезли домой в сопровождении торжественной процессии, при свете факелов.

- Удивительно, полковник, просто удивительно!
 - Это самое высокое официальное положение в целом мире.
 - Именно так... и господствующее над всеми.
 - Ты нашел настоящее слово. Подумай только: я нахмурю брови – и возгорится война; я улыбаюсь – и умиротворенные народы покорно слагают оружие.
 - Но связанная с этим ответственность приводит в содрогание.
 - Э, пустяки! Ответственность мне нипочем, я к ней привык, я всегда нес ее на себе.
 - Но труд... ведь у вас, должно быть, масса работы? Неужели вы обязаны присутствовать на всех заседаниях?
 - Кто, я? Да разве император присутствует на собраниях наместников своих провинций? Он сидит себе дома и только выражает свое одобрение.
- Вашингтон помолчал с минуту; потом у него вырвался тяжелый вздох.
- Как гордился я собою час тому назад и какими ничтожными нахожу теперь оказанные мне скромные почести. Полковник, причина, заставившая меня прибыть в Вашингтон... Одним словом, я приехал сюда на конгресс, в качестве делегата от Чироки-Стрип!

Хозяин вскочил на ноги и воскликнул с пылким энтузиазмом:

– Твою руку, любезный друг! Новость великой важности! Поздравляю тебя от всего сердца. Мои пророчества сбываются. Я всегда предсказывал тебе великую будущность. Если не веришь, спроси Полли.

Гость был оглушен такой неожиданной демонстрацией.

– Что вы, полковник, тут нет ничего особенного. Маленькая, пустынная, безлюдная, узкая полоска земли, заросшая травой, вперемежку с гравием, затерявшаяся в отдаленных равнинах обширного континента, – да ведь это такой пустык! Это то же самое, что явиться представителем пустой бильярдной доски.

– Та-та-та! Напротив, это великое отличие, необыкновенная честь, и ты приобретешь здесь громадное влияние.

– Полноте, у меня нет даже голоса.

– Ничего не значит. Ты можешь говорить спичи...

– Не могу. Население равняется всего двумстам...

– Все это отлично, отлично...

– И жители не имели даже права избирать меня. Мы не составляем пока особой территории. Наша община еще не признана официально, и правительство не знает даже о нашем существовании.

– Не беспокойся, дружище, я все устрою. Я проведу это дело, я мигом доставлю вам организацию.

– Неужели, полковник? Право, это слишком много с вашей стороны. Впрочем, вы остались тем же чистым золотом, каким были всегда, тем же неизменным преданным другом. – И слезы благодарности наполнили глаза Вашингтона.

– Ну, ладно, ладно. Считай, что это дело теперь уж окончено, совсем окончено! Твою руку! Мы станем хлопотать с тобою вместе и добьемся своего.

ГЛАВА III

Успокоившись, миссис Селлерс вернулась обратно и стала расспрашивать Гаукинса о его жене, детях: осведомилась о том, как велика теперь у него семья, и гость рассказал ей о своих удачах и невзгодах в продолжение последних пятнадцати лет, когда ему приходилось переезжать с места на место на дальнем Западе. Тем временем полковнику принесли письмо, и он ушел, чтобы написать ответ; Гаукинс воспользовался этим случаем и спросил:

- Ну, а как шли дела полковника, покуда мы с вами не видались?
- Да все по-старому. Ему, знаете, море по колено, и если бы судьба захотела побаловать его, так он сам не допустил бы этого.
- Совершенно согласен с вами, миссис Селлерс.



- Видите ли, мой муж не хочет измениться ни на самую крошечку; он

всегда остается прежним Мельберри Селлерсом.

– Это и видно.

– Он по-прежнему выдумывает разные разности, также добр, великодушен, никогда не унывает и хоть постоянно терпит неудачи, однако же все его любят, как будто бы каждое дело ему удастся наилучшим образом.

– Так всегда бывало и не может быть иначе, потому что он готов на всякую услугу. В нем есть что-то особенное, что располагает к нему каждого. У такого человека не стесняешься попросить помощи или одолжения, тогда как к другим лучше и не подступайся.

– Совершенно верно. Удивительно только, что на него не действует людская неблагодарность. Сколько раз с ним поступали самым низким образом! Многим помогает он выкарабкаться из беды, а те же самые люди отталкивают его потом, как приставную лестницу, когда в ней нет больше надобности... Некоторое время, после таких казусов, он действительно чувствует обиду, его гордость страдает. Я замечаю это потому, что он старается не говорить о прошедшем. И часто приходилось мне думать в таких случаях: «Ну, тем лучше, теперь мой муж образумится, будет осторожнее!» Как бы не так! Не пройдет и двух недель, как он уж все забыл, и вот явится опять, неведомо откуда, какой-нибудь проходимец, прикинется несчастненьким и обойдет его, влезет ему в душу прямо с сапогами.

– Ну, иногда, я полагаю, вам приходилось очень несладко?

– О, нет! Я уже привыкла и, пожалуй, даже не хотела бы, чтобы Селлерс переменился. Если я зову мужа неудачником, то лишь потому, что люди считают его таким, а по мне он человек прекрасный. Едва ли я желала бы, чтобы он стал другим, то есть чтобы в нем произошла большая перемена. Иногда ведь я его и пожурю, и поворчу, но, кажется, я делала бы это, если бы он и не подавал к тому повода. Таков уж у меня нрав. Я даже меньше бранюсь и бываю спокойнее, когда ему не везет.

– Значит, это не всегда с ним бывает? – спросил Гаукинс с просиявшим лицом.

– С ним? Ах, Господи, конечно, нет! Время от времени он, по его словам, «берет верх». Тут уж я сама сбиваюсь с ног, и мне приходится туго. Деньги так и плывут у него из рук. Мельберри начинает собирать к нам в дом всяких калек и дурачков, приводить с улицы бродячих кошек и разного рода несчастных зверьков, которые не нужны никому, кроме него. А когда у нас опять водворяется нищета, я поневоле выпроваживаю их вон, чтобы нам самим не умереть с голоду. Это приводит моего мужа в отчаяние, да и

меня, разумеется, также. Вот хоть бы взять, к примеру, нашего старого Даниэля и Джинни, которых шериф продал с аукциона, когда мы обанкротились таким же манером еще до войны. Их угнали на Юг, а после заключения мира они прибрели к нам пешком, измученные работой на плантациях, больные, хилые и уже не способные более ни к какому труду. А мы-то уж как сами бедствовали в то время! Радые были черствой корке, чтобы удержать душу в теле. Между тем муж принял бедняков с такою радостью, точно не мог дожидаться их возвращения, точно он день и ночь молил о том Бога. Отвела я его в сторону да и говорю: «Мельберри, ведь нам невозможно держать их у себя, у нас у самих ничего нет. Чем мы прокормим двоих людей?» – «Так неужели выгнать их вон? Они пришли ко мне с таким доверием; значит, я приобрел чем-нибудь его в прежние годы, и оно послужило им порукой. Это в некотором роде то же самое, что выдать вексель; как же мне теперь уклониться от уплаты? Взгляни, какие они несчастные, бездомные, старые, одинокие». Мне стало стыдно: я почувствовала в себе новую бодрость и сказала кротким тоном: «Ну, что же, так и быть, оставим их. Бог не покинет нас». Он обрадовался и начал было разглагольствовать, по своему обыкновению, но спохватился вовремя и прибавил так смиренно: «Уж я как-нибудь похлопочу обо всем». Это было много-много лет назад, и, как видите, старые калеки все живы.

– Но разве они не исполняют у вас домашних работ?

– Вот захотели! Они работали бы, если бы могли, бедняги, да, пожалуй, и воображают, что приносят какую-нибудь пользу. Но это вздор: Даниэль стоит у подъезда или сходит иногда за покупками; другой раз на них обоих нападет усердие, и они примутся стирать в комнатах пыль, но это, уж так и знайте, делается из одного любопытства, чтобы послушать, что говорят господа, и самим вмешаться в разговор. С той же целью они вертятся тут, когда мы сидим за столом. А на деле выходит, что мы же сами принуждены держать негритянку-девочку для ухода за ними, а другую, взрослую, для домашней работы и для помощи первой.

– Значит, они, должно быть, довольны своей участью?

– Ну, не скажите. Наши старики постоянно ссорятся, и все больше насчет религии. Даниэль принадлежит к дункеровской секте баптистов, а Джинни ярая методистка. Джинни верит в особое провидение, а Даниэль нет; он считает себя чем-то вроде вольнодумца. Вот они и разыгрывают и воспевают вместе гимны, заученные на плантациях, и вечно болтают между собою. Эти люди, несмотря на споры, ужасно любят друг друга, а уж до чего они почитают своего господина, так и сказать невозможно. Ведь он смотрит сквозь пальцы на все их глупости, потакает им и балует их. Я

же на все махнула рукой. Пускай себе делают что хотят. К своему Мельберри я привыкла и ни о чем не беспокоюсь больше. Будь что будет, пока Господь не отнимет его у меня.

– Ну, кажется, и теперь полковник рассчитывает в скором времени на поправку своих дел?

– Чтобы снова набрать к себе хромых, слепых, увечных и обратить наш дом в больницу? Это он непременно сделает. Насмотрелась я довольно на его сумасбродства. Нет, Вашингтон, пусть лучше Мельберри не особенно везет под конец жизни, а не то выйдет гораздо хуже.

– Но все равно, будут ли у него крупные удачи, или мелкие, или совсем их не будет, он никогда не останется без друзей... Да, я уверен, что у него всегда найдутся друзья, пока вокруг вас есть люди, которые понимают.

– Ему остаться без друзей! – И миссис Селлерс потрянула головой с нескрываемой гордостью. – Да, кажется, нет человека, Вашингтон, который не любил бы его. Скажу вам по секрету, что мне стоило адского труда помешать тому, чтобы его выбрали на официальную должность. Люди так же отлично знают, как и я, что Мельберри не годится ни на какую службу, но он решительно не умеет отказать, когда его о чем-нибудь просят. Мельберри Селлерс на службе! Господи, да на что это было бы похоже! Я думаю, народ сбегался бы со всех концов света посмотреть на такую комедию. Это то же самое, как если бы мне выйти замуж за Ниагарский водопад.

Она умолкла и после некоторой паузы вернулась к началу своей речи:

– Вы говорите – друзья. У кого их больше, чем у моего мужа, да еще каких друзей-то! Грант, Шерман, Шеридан, Джонстон, Лонгстрит, Ли – сколько раз сживали они на том самом кресле, где сидите вы.

Гаукинс немедленно вскочил и с почтительным изумлением стал рассматривать бывшую под ним мебель, чувствуя благоговейный трепет и неловкость, точно он ступил обутыми ногами на священную землю.

– Такие знаменитости! – воскликнул он.

– О, да, и еще много раз.

Вашингтон, словно очарованный или под властью магнетизма, не спускал глаз с оставленного им кресла, и вдруг перед его духовными очами та узкая полоса иссохшей прерии, которую он не мог выкинуть из головы, запылала, охваченная пожаром. Линия огня, все разрастаясь, соединила, наконец, оба ее края и омрачила небеса клубами дыма. С Гаукинсом случилось то, что случается ежедневно с тем или другим путешественником, не смыслящим в географии, когда он, равнодушно поглядывая из окна вагона, неожиданно увидит перед собою надпись на

железнодорожной станции, гласящую, например: «Стратфорд на Авоне». Между тем миссис Селлерс, как ни в чем не бывало, рассказывала дальше:

– О, они так любят послушать мужа, в особенности когда бремя жизни особенно тяготит их и им хочется стряхнуть его с себя. Ведь Мельберри, вы знаете, то же, что чистый воздух, морской ветерок: он освежает их; он дает толчок стране, как говорят эти люди. Не раз мой муж заставлял смеяться генерала Гранта, а это не шутка. Что же касается Шеридана, то у него загораются глаза, когда он слушает Селлерса, точно грохот артиллерии. Главное очарование полковника, видите ли, заключается в том, что он либерален, без всяких предрассудков и знает толк во всем. Это делает его необыкновенно интересным собеседником и настолько же популярным, насколько общеизвестным. Загляните в Белый дом во время общего приема у президента, когда там бывает Мельберри. Вы просто не отличите, кто из них дает аудиенцию.

– Да, он, без сомнения, замечательный человек и всегда был таким. А религиозен ли он?

– Еще бы! Мельберри думает и говорит о религии больше, чем о всяком другом предмете, исключая Россию и Сибирь. Он без усталости работает над этим вопросом. Нет человека набожнее его.

– А какого вероисповедания ваш муж?

– Он... – миссис Селлерс остановилась, подумала немного и наивно прибавила: – На прошлой неделе, помнится, он был чем-то вроде магометанина.

Вашингтон отправился в город за своими вещами, так как гостеприимные Селлерсы, не слушая никаких отговорок, настояли, чтобы он непременно поселился у них в доме на все время сессии конгресса. Полковник вернулся в библиотеку и снова принялся мастерить игрушку. К приходу гостя она была уже окончена.

– Вот посмотрите, – сказал он Вашингтону, – теперь все готово.

– Но что это за штука, полковник?

– Так, пустяки. Для забавы ребятишкам.

Гаукинс внимательно рассмотрел его произведение.

– Кажется, это нечто вроде фокуса?

– Угадал. Я назвал ее «Свинки в клевере». Ну-ка, загони их в ограду, если сумеешь.

После многих неудачных попыток Гаукинсу удался этот маневр, чем он был рад, как дитя.

– Удивительно остроумно, полковник. Надо же выдумать такую вещь. И занимательно вместе с тем; я мог бы забавляться вашими свинками

целый день. Что вы намерены сделать с этим изобретением?

– О, ровно ничего. Получу патент и заброшу.

– Ну, нет, зачем же. Ведь из такой вещицы можно извлечь порядочные деньги.

Лицо полковника выразило презрительное сожаление.

– Деньги?.. Пожалуй, – заметил он. – Но самые пустячные. Каких-нибудь двести тысяч, никак не больше.

Глаза Вашингтона засверкали.

– Двести тысяч долларов! И, по-вашему, это пустячные деньги?

Хозяин встал, крадучись приблизился к полуотворенной двери, запер ее и на цыпочках вернулся на свое место.

– Можете вы сохранить тайну? – произнес он чуть слышным шепотом.

Гаукинс утвердительно кивнул головой; напряженное ожидание мешало ему говорить.

– Слыхали вы о материализации – о материализации духов умерших?

Вашингтон слышал о том.

– И, конечно, не верили? Да и хорошо делали, впрочем. Эта штука в том виде, как она практикуется невежественными шарлатанами, не стоит внимания. Слабый свет в темной комнате, сбившаяся в кучу толпа одураченных сентиментальных болванов с их верой, трепетом и готовыми хлынуть слезами, а перед ними все один и тот же представитель вырождения протоплазмы и герой мошеннических проделок материализует сам себя, изображая, кого хотите: вашу бабушку, внучку, зятя, эндорскую волшебницу, сиамских близнецов, Петра Великого, Джона Мильтона и, пожалуй, хоть черта в ступе, – все это дребедень, жалкое сумасбродство. Но когда компетентный человек располагает в данном случае необъятной мощью науки, это совсем иное дело, любезный друг. Привидение, явившееся на его зов, остается и не исчезает. Можешь ли ты оценить коммерческое значение последнего пункта?

– Да... говоря по правде... не совсем. Вы хотите сказать, что подобное явление, будучи постоянным, а не преходящим, увеличит интерес спиритического сеанса и повысит плату за входные билеты на это зрелище?..

– Зрелище? Ну, угодил пальцем в небо! Выслушай меня внимательно да вдохни сначала побольше воздуха, потому что у тебя сейчас захватит дух. Через три дня я вполне усовершенствую свою методику, и тогда весь мир разинет рот, потому что увидит чудеса. Вашингтон, через три дня, а самое большее – через десять, ты сделаешься свидетелем того, как я стану вызывать умерших в любом столетии, и они воскреснут и будут двигаться.

Двигаться? Да что я говорю! Они совсем останутся на земле, чтобы никогда больше не умирать. Они явятся облаченные плотью, со всеми мускулами и во всей своей прежней силе.

– Полковник! От таких вещей хоть у кого захватит дух.

– Ну, понял ли ты теперь, сколько прибыли принесет такая штука?

– Как вам сказать?.. Не совсем понял.

– Ах, Господи! Слушай. Ведь за мной останется монополия, они все будут принадлежать мне, так? Возьмем пример. В Нью-Йорке две тысячи полисменов. Каждый из них получает жалованье по четыре доллара в день. А я замещу их мертвыми за полцены.

– Страшный барыш. Вот никогда не думал. Четыре тысячи долларов ежедневно. Теперь я начинаю понимать! Но годятся ли на службу мертвые полисмены?

– Да ведь они будут тогда живыми!

– Конечно, если вы ставите вопрос на такую почву...

– Ставь его, как тебе угодно. Видоизменяй, как вздумается, а мои молодцы все-таки будут несравненно лучше теперешних. Так как им не нужно ни питья, ни еды и ничего иного, значит, они не станут брать взятки, потворствуя содержателям игорных домов и других скверных притонов, не станут развращать судомоек; если же какая-нибудь воровская шайка подстережет этих блюстителей порядка на пустынном перекрестке и вздумает пристрелить их из-за угла или пырнуть ножом, то повредит им только мундир и, оставшись с носом, будет тут же немедленно арестована.

– Разумеется, полковник, если вы в состоянии поставлять полисменов...

– И полисменов, и кого тебе угодно. Вот хоть бы армия. В настоящее время у нас двадцать пять тысяч человек под ружьем, и они обходятся стране в двадцать два миллиона ежегодно. Я подниму из могил древних римлян, воскрешу греков и поставлю правительству за десять миллионов в год десять тысяч ветеранов, на вербованных из славных легионов всех веков; они станут истреблять индейцев из года в год, преследуя их на таких же материализованных конях, для которых также не потребуется ни единого цента ни на фураж, ни на ремонт. Европейские армии обходятся теперь в два биллиона в год, я заменю их все за один биллион. Я воскрешу способнейших государственных людей всех времен и народов и создам Америке такой состав конгресса, который уж сумеет выйти сухим из воды при всяком затруднении, чего никогда не случалось до сих пор с самого объявления независимости и никогда не случится, пока эти фактически умершие люди заменены настоящими. Я займу троны Европы лучшими

умами и лучшими добродетелями, какие только могут доставить царственные гробницы всех веков, – что, однако, не обещает большого проку. Одним словом, я внесу коренные перемены в бюджеты и цивилизные списки всех стран, удержав за собою только половину прежних расходов, и тогда...

– Полковник, да ведь если ваши проекты осуществляются хоть отчасти, тут можно нажить миллионы и миллионы.

– Лучше скажи: биллионы. Биллионы, дружище! Видишь ли, штука эта до того близка к осуществлению, до того ясна и несомненна при всем своем громадном значении, что если бы теперь ко мне пришел какой-нибудь добрый человек и сказал: «Полковник, я поистратился маленько, не одолжите ли вы мне парочку биллионов на...» – Войдите, пожалуйста!

Последние слова были ответом стукавшемуся в дверь. В комнату влетел джентльмен весьма решительного вида с разносной книгой в руках, вынул из нее бумагу и подал хозяину с отрывистым замечанием:

– Семнадцатая и последняя повестка; на этот раз вы непременно должны уплатить три доллара сорок центов, полковник Мельберри Селлерс.

Хозяин принялся шарить то в одном, то в другом кармане, бросаться по комнате туда и сюда, бормоча себе под нос:

– Куда это запропастился мой бумажник?.. Дайте посмотреть... Нет, и тут его не видно. Верно, я оставил его на кухне. Позвольте, я сейчас сбегую...

– Извините, вы не сойдете с места и не отвертитесь от уплаты, как бывало уже столько раз.

Вашингтон по простоте души взялся сходить за бумажником. Когда он вышел, полковник сказал:

– Говоря по правде, я хотел и сегодня прибегнуть к вашей снисходительности, Сеггс. Видите ли, ожидаемый мною перевод из банка...

– К черту ваши переводы! Старая шутка, и увертки не приведут ни к чему. Расплачивайтесь живее!

Полковник с отчаянием огляделся кругом. Вдруг его лицо прояснилось. Он подбежал к стене и принялся смахивать носовым платком пыль с одной ужаснейшей хромолитаграфии, после чего, благоговейно сняв ее с гвоздя, подал сборщику, отвернулся и произнес:

– Возьмите, только чтоб я не видел, как вы будете уносить мое сокровище. Это единственный уцелевший Рембрандт...

– Какой там Рембрандт, простая хромолитаграфия...

– О, не говорите так, прошу вас. Это единственный великий оригинал, последний высокий образец той мощной школы искусства, которая...

– Хорошо искусство! Это самая отвратительная пачкотня, какую мне...

Но полковник подносил ему уже другое безобразие в дешевой рамке, любовно обмахивая с него пыль.

– Возьмите также и это – лучший перл моей коллекции, единственный, неподдельный фра Анджелико...

– Дрянная раскрашенная картинка, больше ничего, вот ваш фра Анджелико. Ну, давайте его сюда. Прощайте, – люди на улице подумают, что я обокрал негритянскую цирюльню.

Когда он захлопнул за собою дверь, полковник встревоженно крикнул ему вслед:

– Закройте их хорошенько от сырости! Нежные краски фра Анджелико...

Но сборщик уже исчез.

Вошел Гаукинс и объявил, что, несмотря на все старания миссис Селлерс и прислуги, бумажника нигде не удалось найти. Потом он прибавил, что если бы ему посчастливилось выследить на этих днях одного человека, то не было бы нужды отыскивать пропавшего бумажника.

– Какого человека?

– Однорукого Пита, как его называют у нас, в Чироки. Он бежал, обокрав банк в Таликуа.

– Да разве там существуют банки?

– Один-то, во всяком случае, был. Пита подозревают в краже. Пропало больше двадцати тысяч долларов. Сдается мне, что я видел его по дороге сюда, в самом начале пути.

– Не может быть.

– По крайней мере, на нашем поезде ехал пассажир, приметы которого совершенно совпадали с приметами Пита. И платье точно такое же, и не хватает одной руки.

– Почему же ты дал маху, не велел арестовать его и не потребовал обещанной награды?

– Не успел. Он сошел с поезда, вероятно, в продолжение ночи.

– Ну, это дело дрянь.

– Не совсем так.

– А что?

– Да он прибыл в Балтимору одновременно со мною. Только я не знал тогда об этом. Когда же мы тронулись со станции, я увидел, как он идет к железным воротам с саквояжем в руке.

- Отлично. Вот мы его и сцапаем. Надо хорошенько составить план.
 - Не уведомить ли нам балтиморскую полицию?
 - Как это можно? Разве тебе хочется, чтобы награда досталась ей?
 - В таком случае, что же делать?
- Полковник принялся соображать.
- Сейчас я тебе скажу. Напечатай объявление в балтиморской газете «Солнце». Текст приблизительно следующий: «А. Черкни мне строчку, Пит»... Погоди. Которой руки у него не достает?
 - Правой.
 - Ладно. Итак: «А. Черкни мне строчку, Пит, хотя бы тебе понадобилось писать левой рукой. Адрес: Х. У. З. Главный почтамт, Вашингтон. Ты знаешь, от кого». Вот он и попадетсЯ на удочку.



- Да разве он будет знать, кто ему пишет?
- Нет, но ему захочется узнать.
- Действительно так. Мне не пришло в голову. Что такое натолкнуло вас на эту мысль?
- Знание людей. Любопытство развито в них до высшей степени.

– Сейчас пойду в свою комнату, напишу объявление и приложу к нему доллар. Пускай напечатают.

ГЛАВА IV

День догорел. После обеда двое приятелей целый вечер проболтали о том, как лучше распорядиться пятью тысячами долларов награды, когда им удастся выследить однорукого Пита, схватить его, удостовериться в личности предполагаемого мошенника, выдать его властям и отправить в Таликуа на индийской территории. Но у них рождалось столько блестящих проектов насчет употребления ожидаемой суммы, что они не могли ни на чем остановиться. Наконец их спор надоел миссис Селлерс, и она сказала:

– Не глупо ли, что вы собираетесь зажарить зайца, не успев его поймать?

Тут интересный предмет разговора был оставлен до другого раза, и вся компания отправилась на боковую. На другое утро, по совету Гаукинса, полковник сделал рисунок и составил описание придуманной им игрушки и пошел хлопотать о патенте на свое изобретение, между тем как приезжий захватил самую модель и отправился бродить по городу, в надежде извлечь из остроумной безделушки какую-нибудь материальную выгоду. Ему пришлось идти не далеко. В маленьком деревянном бараке, служившем некогда жилищем для бедной негритянской семьи, он нашел янки с проницательными, хитрыми глазами, занимавшегося починкой дешевых стульев и другой мебели средней руки. Этот человек равнодушно повертел в руках игрушку, попробовал сделать заключающийся в ней фокус, но, увидав, что это не так легко, как ему показалось сначала, заинтересовался моделью, а под конец даже увлекся ею. Добившись успеха и загнав свинок в загородку, он спросил:

– Патентованная эта штука?

– Патент будет взят.

– Отлично, сколько вы за нее хотите?

– А почему она будет продаваться?

– По двадцать пять центов, я полагаю.

– Сколько же вы дадите за исключительное право?

– Я не могу предложить и двадцати долларов, если потребуется немедленная уплата. Но вот что можно устроить. Я выпущу игрушку, поставлю на нее свое клеймо и буду выплачивать вам по пять центов с каждой проданной штуки.

Вашингтон вздохнул. Еще одна мечта, разлетевшаяся прахом! Изобретение полковника не стоило ничего. И он сказал предприимчивому

столяру:

– Ладно, будь по-вашему. Пишите условие.

Взяв документ, Гаукинс пошел своей дорогой и выбросил это дело из головы, чтобы дать место более заманчивым соображениям насчет того, каким образом употребить половину предстоявшей ему награды в случае, если они с полковником надумают поместить свои деньги сообща в какое-нибудь выгодное мероприятие! Он недолго оставался дома один. Вскоре пришел хозяин, удрученный печалью и в то же время сияющий радостью, причем эти разнородные чувства проявлялись у него порывами то вместе, то порознь. Полковник, рыдая, бросился Гаукинсу на шею и проговорил:

– Плачь со мною, старый дружище; страшное горе поразило мой дом; смерть похитила моего ближайшего родственника, и теперь я граф Росмор, – поздравь меня!

Он обратился к жене, как раз вошедшей в комнату, обнял ее и сказал:

– Надеюсь, вы мужественно перенесете этот удар из любви ко мне. Так было predetermined свыше.

Миссис Селлерс, действительно, выказала большое мужество и, как ни в чем не бывало, заметила мужу:

– Не велика потеря. Симон Латерс был гол как сокол, добрый, но совсем беспутный малый, а его брат – совершенная дрянь!

Законный граф продолжал:

– Я слишком потрясен борьбою грустных и радостных чувств, чтобы мог сосредоточиться на деловых вопросах, а потому хочу попросить нашего друга уведомить о случившемся по телеграфу или по почте леди Гвендолен и дать ей нужные инструкции...

– Какую это леди Гвендолен?

– Нашу бедную дочь... о, Господи! – прибавил полковник, снова заливаясь слезами.

– Салли Селлерс? Уж не рехнулся ли ты, Мельберри?

– Прошу не забывать, кто вы и кто я. Вы должны сохранять свое личное достоинство, но помнить также и о моем. Лучше всего было бы с вашей стороны не упоминать более моей прежней фамилии, леди Росмор.

– Боже мой! Ну, хорошо, я не буду. Как же прикажете мне вас величать?

– Наедине прежние ласкательные имена могут быть терпимы – до известной степени, но при посторонних выйдет гораздо пристойнее, если вы будете называть меня в глаза милордом, а говоря обо мне, – Росмором, или графом, или «его лордством». Кроме того...

– Батюшки мои! Никогда не привыкнуть мне к таким церемониям,

Берри.

– Вы должны привыкнуть, моя дорогая. Нам необходимо держать себя сообразно своему теперешнему званию и по мере сил согласоваться с требованиями нового положения.

– Ну, хорошо, будь по-твоему; я никогда не шла наперекор твоим желаниям, Мель... то бишь, милорд, хотя на старости лет трудно переучиваться, да и, на мой взгляд, все это страшнейшая глупость, какую только можно себе вообразить.

– Вот речь, достойная моей милой, преданной жены! Поцелуй меня, и не станем ссориться!

– Хорошо; но... Гвендолен... Не знаю, как мне и привыкнуть к такому имени. Очень уж оно мудреное. Опять же, всем будет невдомек, что под ним скрывается Салли Селлерс. Право, оно слишком пространно для меня. Это все равно что одеть херувима в длинный плащ ниже пяток. И совсем чужое, иностранное имя; я, по крайней мере, такого не слыхивала.

– Однако вы увидите, что наша дочь будет от него в восторге, миледи.

– Истинная правда. Она до смерти любит всякий романтический вздор, точно и родилась для этого. Уж от меня-то Салли не могла унаследовать ничего подобного, могу сказать по совести! На беду еще отдали ее в дурацкий пансион, где она совсем ошалела.

– Не верь ей, Гаукинс, – возразил полковник. – Ровена-Айвенго – самый избранный колледж и аристократический храм науки для молодых девиц в нашей местности. Для того, чтобы туда попасть, нужно быть богатой, фешенебельной или представить доказательства, что твои предки еще за четыре поколения принадлежали к так называемой американской аристократии. Посмотрел бы ты, какой там шик, какая роскошь. Здание в виде древнего замка, с зубчатыми стенами, башнями и башенками, обнесено подобием рва, и каждая часть носит имя какого-нибудь героя из романов Вальтера Скотта. Богатые ученицы держат там свои экипажи, имеют ливрейных кучеров, верховых лошадей с английскими грумами в шляпах, в сюртуках в обтяжку, в ботфортах и с одной ручкой от хлыстика, но без него. В их обязанности входит во время прогулки верхом следовать за своей госпожой в шестидесяти трех футах расстояния...

– И девочки решительно не учатся там ничему путному, Вашингтон Гаукинс, – перебила миссис Селлерс, – делают там из них модных кукол напоказ, да прививают им глупое жеманство совсем не в американском духе. Однако, посылайте же за леди Гвендолен. Если не ошибаюсь, по правилам этикета в домах английских пэров, ей следует вернуться к родителям, чтобы в уединении от света оплакивать смерть этих

арканзасских шалопаев.

– Шалопаев!!! Душа моя, опомнись. Не забывай – *noblesse oblige*.

– Ах, говори ты со мной, пожалуйста, на своем языке. Ведь ты не знаешь другого, и твое кривлянье просто смешно. О, впрочем, извините, я опять совершила оплошность, но ведь в мои годы нельзя в одну секунду бросить свои прежние привычки. Не сердись, Росмор, а ступай лучше к себе да напиши Гвендолен. Вы пошлете ей письмо, Вашингтон, или телеграфируете?

– Он телеграфирует, моя дорогая.

– Я так и думала, – пробормотала миледи, удаляясь. – Должно быть, Мельберри ужасно хочется указать на бланке свой новый титул. Теперь моя дочь окончательно потеряет голову. Депеша, конечно, попадет ей в руки, потому что если в колледже и найдутся другие Селлерсы, то ведь они окажутся нетитулованными. Ну, пускай девочка потешит свою гордость. Пожалуй, с ее стороны это вполне простительно. Она так бедна, а ее подруги богачки; вероятно, ей приходится не сладко от тех, которые держат при себе ливрейную челядь. Каждому ведь хочется быть не хуже других.

Негра Даниэля послали на телеграф. Хотя в углу гостиной полковника и виднелась какая-то подозрительная штука, выдаваемая за телефон, но Вашингтону никак не удалось добиться от нее ответа из главного бюро. Хозяин часто ворчал на то, что его аппарат оказывается в неисправности как раз в ту минуту, когда в нем бывает особенная нужда, однако он скромно умалчивал о настоящей причине такой аномалии. Объяснялась же она очень просто: мнимый телефон не имел провода и красовался в комнате только для вида, что не мешало полковнику для пущей важности отдавать через него различные приказания при посторонних. Заказав в магазине почтовую бумагу с траурным ободком и печать, друзья предались отдыху после трудов.

На другой день Гаукинс принялся драпировать черным крепом портрет Эндрю Джексона, а настоящий граф настроил уже известное нам письмо, в котором уведомлял английского узурпатора о постигшем их семейном горе. Вместе с тем он писал и деревенским властям в Деффис-Корнерс, приказывая им набальзамировать тела умерших близнецов при помощи эксперта, выписанного из Сен-Луи, и отправить их в Англию на имя графа Росмора с приложением счета всех расходов. Затем полковник начертил герб и девиз Росморов на огромном листе коричневой бумаги, и они отправились вдвоем с Гаукинсом к новому знакомцу последнего, хитрому янки, занимавшемуся починкой мебели. Он в какой-нибудь час смастерил ошеломляющие траурные гербы, которые и были прибиты на лицевом

фасаде дома, с расчетом на сенсацию.

И расчет действительно удался. Толпы праздных негров с множеством оборвышей-ребятишек и бродячих собак сбегались со всей округи на это необычайное зрелище, которое послужило им развлечением на много дней подряд.

Новоиспеченный граф нимало не удивился при виде этой публики, как не удивлялся и нижеследующей заметке в вечерней газете. Он тщательно вырезал ее и поместил в свой альбом.

«Вследствие недавней смерти своего родственника наш высокопочтенный согражданин, полковник Мельберри Селлерс, несменяемый свободный член дипломатического корпуса, сделался по закону главой графского дома Росморов, третьего по своему значению в ряду графских фамилий Великобритании, и намерен принять безотлагательные меры, ходатайствуя перед палатой лордов о признании его прав на титул и поместья этого знаменитого рода, несправедливо захваченные теперешним владельцем. До окончания срока траура обычные приемы по четвергам в Росмор-Тоуэрс будут прекращены».

А леди Росмор размышляла про себя: «Приемы! Люди, которые не знают хорошенько моего мужа, могут счесть его пошляком, но, по-моему, он один из самых необыкновенных людей. Относительно внезапности действий и изобретательности, я полагаю, он не имеет себе равного. Ну, кому, например, придет в голову окрестить эту убогую крысиную нору Росмор-Тоуэрсом, а ведь он сейчас придумал! Хорошо иметь воображение, которое делает вас довольным, в каком бы положении вы не очутились. Недаром дядя Дэв Гопкинс всегда говаривал: «Обратите меня в Джона Кальвини, и я буду затрудняться, как поступать; обратите меня в Мельберри Селлерса, и мне станет море по колено».

Размышления законного графа про себя:

«Росмор-Тоуэрс! Каково название?! Просто шик! Жаль, что я не употребил его в письме к узурпатору. Ну, впрочем, не беда; можно сделать это в другой раз».

ГЛАВА V

Ни ответа на телеграмму, ни дочери. Однако один Вашингтон удивлялся этому и выказывал некоторую тревогу. После трех дней ожидания он спросил у леди Росмор, какая может быть тому причина. И она совершенно спокойно отвечала:

– О, вы никогда не можете предугадать, как поступит Салли. Ведь она настоящая Селлерс, по крайней мере, во многих отношениях, а Селлерсы ни за что не могут сказать вам заранее, что они сделают, потому что и сами того не знают. Поверьте мне, она жива и здорова, о ней нечего беспокоиться. Устроив свои дела, моя дочь приедет или напишет, тогда все и узнается.

Наконец известие пришло в виде письма, которое было распечатано матерью без всякой лихорадочной поспешности, без дрожи в руках и других проявлений чувств, как бывает обыкновенно при запоздалых ответах на важные телеграммы. Она старательно протерла очки, продолжая любезно беседовать с гостем, не спеша развернула листок и стала читать его вслух:

...

*«Кенильворт-Кип, Редгаунтлет-Голл,
Ровена-Айвенго, колледж.
Четверг.*

Дорогая, бесценная мама Росмор.

О, как я рада, вы не можете себе представить! Вы знаете, они всегда задирали передо мною носы, когда слышали о наших родственных связях, и я по мере сил платила им тем же. По их словам, пожалуй, приятно быть законной тенью графа, но быть тенью тени, да еще получать при этом щелчки, это уж никуда не годится. А я постоянно возражала, что иметь за собою четыре поколения предков-торгашей, каких-нибудь Педлеров да Мак-Алистеров, еще куда ни шло, но быть вынужденным сознаться в таком происхождении – благодарю покорно. Итак, ваша телеграмма произвела

действие циклона. Рассыльный вошел прямо в большую приемную залу, которая называется у нас Роб-Ройской, и торжественно произнес нараспев: «Депеша леди Гвендолен Селлерс!» Ах, если бы вы видели сборище этих хихикавших и болтавших аристократок из-за прилавка, внезапно окаменевших на месте! Я скромно ютилась в уголке, как и подобает Сандрильоне. Прочитав телеграмму, я попробовала упасть в обморок, и это бы мне удалось, если бы я успела приготовиться, но все случилось совершенно внезапно. Впрочем, не беда, и так вышло хорошо: прижав платок к глазам, я побежала, рыдая, в свою комнату, как бы нечаянно уронив телеграмму. Но все же на один миг я посмотрела краешком глаза на подруг, и этого было мне достаточно, чтобы увидеть, как они вырывают одна у другой поднятый листок. Потом я полетела дальше, в мнимом припадке отчаяния, веселая в душе, как птичка.

Тут меня осадили изъявлениями участия. Визиты были до того многочисленны, что мне пришлось принимать посетительниц в гостиной мисс Августы-Темпльтон-Ашмор-Гамильтон. Моя же собственная комната, где могут поместиться всего три человека с кошкой в придачу, оказалась слишком тесна для нахлынувшей публики. Еще до сих пор я продолжаю быть предметом общего внимания по случаю траура и защищаюсь от попыток навязаться мне в родственники. И представьте себе, что первой явилась ко мне с соболезнованиями эта сумасбродная девчонка Скимпертон, которая постоянно поддразнивала меня, играя роль самой важной особы в колледже на том основании, что кто-то из ее предков когда-то был Мак-Алистером. Право, это одно и то же, как если бы самая ничтожная птица в зверинце вздумала чваниться своим происхождением от допотопного птеродактиля.

Но попробуйте угадать, в чем состояло мое величайшее торжество. Ни за что не угадаете! Вот в чем. Эта глупышка и две других постоянно оспаривали одна у другой первенство, по званию, конечно. Из-за

этого они чуть не уморили себя голодом, потому что каждая старалась встать первой из-за стола, причем ни одна из них не доедала своего обеда, а норовила вскочить посередине, чтобы оказаться во главе остальных. Хорошо. Целый день я провела в уединении – как будто предаваясь печали, а на самом деле мастерила себе траурное платье, но на следующий вышла к общему столу, и что же, как бы вы думали? Эти три надутые гусыни сидели себе преспокойно целый обед. Уж они чавкали-чавкали, лакали-лакали, ели-ели, вознаграждая себя за долгий пост, так что глаза у них замаслились, и все время смиренно ожидали, когда леди Гвендолен соблаговолит первая подняться из-за стола.

Да уж, могу сказать: теперь на моей улице праздник. И представьте, ни одна из наших пансионеров не имела жестокости спросить, каким образом у меня оказалось новое имя. Одни воздержались от этого из человеколюбия, а другие по иным соображениям. В настоящем случае в них сказалась не природная доброта, а строгая выдержка. Это я их вышколила так отлично.

Когда я покончу здесь все старые счета и в достаточной степени упыюсь воскуряемым мне фимиамом, то соберу свои пожитки и приеду к вам. Передайте папе, что я так же люблю его, как и мое новое имя. Какая счастливая идея пришла ему! Впрочем, у него никогда не было недостатка в счастливых идеях. Ваша любящая дочь Гвендолен».

Гаукинс потянулся за письмом и бросил на него взгляд.

– Хорошая рука, – заметил он. – Уверенный, твердый и смелый почерк. Видно, что ваша дочь бойкого характера.

– О, все они бойкие, Селлерсы. То есть, я хочу сказать: были бы такими, если бы их было много. Даже и бедные Латерсы не повесили бы носов, будь они Селлерсами; я подразумеваю – чистокровными. Конечно, и в них билась та же самая жилка, и даже очень сильно, но между фальшивым долларом и настоящим все-таки большая разница.

На седьмой день после отправки телеграммы Вашингтон в

задумчивости вышел к утреннему завтраку, но тут же очнулся, охваченный внезапным спазматическим восторгом. Перед ним появилось самое восхитительное юное создание, какое он когда-либо встречал в своей жизни. То была Салли Селлерс, леди Гвендолен, приехавшая ночью. И ему показалось, что на ней самое хорошенькое, самое изящное платье, какое только можно себе вообразить; что оно превосходно сидит на молодой девушке и представляет чудо изысканного вкуса по своему фасону, отделке, мастерскому исполнению и ласкающей гармонии цветов. А между тем это был простенький и недорогой утренний туалет. Теперь Гаукинсу стало понятно, почему, несмотря на вопиющую бедность, обстановка в ломе Селлерсов отличалась такой привлекательностью, так ласкала глаз и производила такое умиротворяющее впечатление своей гармонией. Перед ним была налицо сама волшебница посреди чудес, созданных ее руками, и придавала своей собственной персоной настоящий колорит и законченность общей картине.

– Дочь моя, майор Гаукинс, приехала домой разделить печаль родителей, прилетела на скорбный призыв помочь им перенести тяжкую утрату. Она ужасно любила покойного графа, обожала его, сэр, обожала...

– Что вы, папа, да я его никогда не видела.

– Правда, правда, я хотел сказать это о... кхэ!.. о ее матери.

– Я обожала эту прокопченную треску? Этого беспутного мямлю, этого...

– Ну, да, не ты, а я боготворил его. Несчастный, благородный малый! Мы были неразлучными това...

– Послушайте, что он мелет! Мельберри Сель... Мель... Росмор! Никогда мне не привыкнуть к этому мудреному имени. Не один, а тысячу раз ты говорил мне, что этот злополучный баран...

– Ну, хорошо, хорошо, я перепутал; я хотел сказать это про кого-то другого; теперь и сам не знаю, про кого. Но не в этом дело; кто-то действительно боготворил покойника, я это отлично помню, и еще...

– Папа, я хотела бы пожать руку майору Гаукинсу и познакомиться с ним поближе. Я вас отлично помню, майор, хотя была еще ребенком, когда мы виделись с вами в последний раз. Мне очень, очень приятно возобновить наше знакомство; ведь вы для нас все равно что родной.

И сияя приветливой улыбкой, она пожала ему руку, выразив надежду, что и он не забыл ее.

Такой задушевный привет растрогал Вашингтона, который в благодарность за него готов был уверить девушку, что он отлично помнит ее, даже лучше собственных детей, но факты, очевидно, говорили

противное, а потому у него в довольно несвязной речи как-то само собою вырвалось откровенное признание, что ее необычайная красота поразила его, что он до сих пор не может прийти в себя, а потому не вполне уверен, помнит ли ее или нет. Этот ответ заслужил Вашингтону расположение красавицы, и они стали друзьями.

В самом деле, красота этого прелестного создания была редкого типа. Она заключалась главным образом не в глазах, не в форме носа, рта, подбородка, а в гармоническом сочетании всех отдельных частей. Настоящая красота зависит более от правильного размещения и точного распределения линий, чем от их множества. То же относится и к цвету лица. Комбинация красок, которая при вулканическом извержении придает прелесть ландшафту, может обезобразить женское лицо.



С ее приездом семейный кружок оказался в полном составе, и было решено приступить к официальным поминкам. Они должны были начинаться ежедневно в шесть часов вечера (время обеда) и кончаться вместе с обедом.

— О, наш род, майор, такой важный и знаменитый, такой славный, что непременно требует королевских, скажу даже императорских, поминок.

Э... леди Гвендолен! Ушла? Ну, все равно. Мне нужна моя книга пэров. Я сейчас принесу ее сам и покажу вам кое-какие подробности, которые дадут вам яркое понятие о том, что такое наша фамилия. Я просматривал Бюрка и нашел, что из шестидесяти четырех незаконных детей Вильгельма Завоевателя... Милая моя, не принесешь ли ты мне эту книгу? Она на письменном столе в твоём будуаре. Так вот, я говорил, что только дома Сент-Альбанов, Бекле и Графтонов стоят выше нашего в общем списке; вся же остальная британская знать тянется длинной вереницей за нами. Ах, благодарю вас, миледи. Теперь мы возвращаемся к Вильгельму и находим... Письмо на имя Х. Y. Z. Превосходно! Когда ты получил письмо?

– Вчера вечером; но я заснул, не дождавшись вас; вы вернулись так поздно, а когда я пришел сегодня к завтраку, мисс Гвендолен... она, право, отшибла у меня всякую память.

– Чудная девушка, чудная. Знатное происхождение сказывается и в ее поступки, и в чертах, и в манере, но посмотрим, однако, что пишет тот. Это ужасно интересно.

– Я не читал письма, э... Роем... мистер Роем... э...

– Милорд! Произноси как можно отрывистей. Так принято в Англии. Я сейчас распечатаю. Ну, теперь давайте посмотрим:

«А. Вы знаете, кому. Думаю, что я знаю вас. Подождите десять дней. Приеду в Вашингтон».

На лицах обоих приятелей выразилось разочарование. Наступила пауза. Потом майор произнес со вздохом:

– Но ведь мы не можем дожидаться денег десять дней.

– Нет. Малый ужасно безрассуден. Ведь с точки зрения финансов мы совсем сидим на мели.

– Если бы можно было дать ему понять тем или другим способом, что нам невтерпёж!

– Да, да, вот именно – и что если бы он соблаговолил пожаловать поскорее, это было бы с его стороны большим одолжением, которое мы...

– Которое мы...

– Сумеем оценить...

– Именно... и как нельзя лучше вознаградить...

– Разумеется. Это сейчас подденет его. Говоря по правде, если в нем бьется человеческое сердце, если ему не чужды гуманные чувства к ближнему, он явится сюда в двадцать четыре часа. Перо и бумагу. Сейчас за дело.

Друзья набросали двадцать два различных объявления, но ни одно из них не годилось. Все они имели одну слабую сторону: если прибегнуть к

сильным выражениям, Пит сейчас раскусит, чем это пахнет, у него явится подозрение, а в более мягкой форме выйдет сухо и не произведет надлежащего действия. Наконец, полковник бросил все дело и сказал:

– Я заметил, что в подобных литературных упражнениях, чем больше стараешься замаскировать свое настоящее намерение, тем менее это удастся. Когда же вы беретесь за писание с чистой совестью, не имея надобности что-либо скрывать, вы можете настроичить целую книгу, в которой сам черт ничего не разберет. Так сочинители и делают.

Гаукинс также отложил в сторону перо, и оба решили как-нибудь извернуться, чтобы можно было подождать десять дней. Они даже развеселились потом немного: имея впереди кое-что определенное, разве нельзя призанять денег под предстоящую награду или как-нибудь дотянуть до полочки? А тем временем будет усовершенствован способ материализации – и тогда конец всем печалям.

На другой день, 10 мая, случились, между прочим, два знаменательных события. Останки благородных арканзасских близнецов отплыли из Америки в Англию по адресу лорда Росмора, тогда как лорд Росмор-сын Киркудбрайт-Ллановер-Марджиорибэнкс-Селлерс, виконт Берклей, отплыл из Ливерпуля в Америку с тем, чтобы передать свои права на графскую корону настоящему лорду Мельберри Селлерсу из Росмор-Тоуэрс, в округе Колумбия в Соединенных Американских Штатах. Этим двум кораблям, имевшим такую связь, предстояло встретиться пять дней спустя посреди Атлантического океана и разойтись, не обменявшись приветственными сигналами.

ГЛАВА VI

Немного времени спустя прах близнецов прибыл по назначению и был доставлен знаменитому родственнику. Не пытаемся даже описывать страшное бешенство старого лорда. Однако, дав перекипеть своему гневу, он мало-помалу успокоился и пришел к тому заключению, что умершие братья Латерсы имели кое-какие моральные, если не легальные, права на наследство, что они приходились ему единокровными, и потому было бы неблагоприятно отнестись к ним, как к первым встречным. Таким образом, граф распорядился похоронить близнецов вместе с их знатным родством в церкви Кольмондлейского замка, с подобающей честью и пышностью. Он даже придавал особую торжественность церемонии, явившись в ней главным действующим лицом, но выставлять траурные гербы на своей резиденции не считал нужным.

Тем временем наши друзья в Вашингтоне коротали скучные дни, поджидая Пита и осыпая его упреками за преступную медлительность. Что же касается Салли Селлерс, которая была настолько же практичной и демократкой, насколько леди Гвендолен была романтической и аристократкой, – то она не сидела сложа руки и извлекала как можно больше пользы из своего двойственного положения. Целый день в уединении рабочей комнаты Салли Селлерс добывала для семьи насущный хлеб, а целый вечер леди Гвендолен Селлерс поддерживала достоинство графов Росморов. Днем она была американка, энергичная, гордившаяся делом своих рук и его практической пользой, а по вечерам для нее наставлял праздник, когда она витала в волшебной фантастической стране, населенной титулованными и коронованными призраками, созданными ее воображением. При дневном свете их жилище было в ее глазах убогой ветхой развалиной и ничем больше, но под таинственным покровом ночи оно обращалось в Росмор-Тоуэрс. В пансионе она незаметно выучилась шитью. Подруги находили, что Салли удивительно удачно придумывает свои костюмы. Ободренная заслуженной похвалой, девушка не знала после того ни минуты праздности, да и не тяготилась этим, потому что развитие своих талантов доставляет величайшее удовольствие в жизни, а Салли Селлерс положительно обладала даром создавать превосходные костюмы. Не прошло и трех дней с ее приезда домой, как она уже добыла себе кое-какую работу! А прежде чем наступил срок, назначенный Питом, и близнецы нашли себе вечное упокоение в недрах английской земли,

молодая девушка была почти завалена работой, так что ее родителям не приходилось более жертвовать фамильными хромофотографиями на покрытие долгов.

– Молодец у меня дочь, – говорил Росмор майору, – вся в отца. Ловко работает головой и руками и не стыдится этого. За что ни возьмется, ни в чем не знает неудачи. Совсем американка по усвоенному национальному духу, и в то же время вполне английская аристократка по унаследованному кровному благородству. Ни дать ни взять, я сам: Мельберри Селлерс в сфере финансов и изобретательности. А после деловых часов кого ты находишь во мне? Платье то же, но кто в нем? Росмор, пэр Англии!

Оба приятеля ежедневно навещали на главный почтамт. Наконец их терпение было вознаграждено. К вечеру 20 мая они получили письмо с городским штемпелем. На нем не было выставлено числа, и оно гласило следующее:

«Бочонок с золою у фонарной будки в аллее Черного Коня. Если вы играете вчистую, то ступайте и сядьте на него завтра поутру, 21-го, в 10 часов 22 минуты, не раньше, не позже, и ждите, пока я приду».

Друзья призадумались над письмом. Наконец граф заметил:

– Понимаешь ты, он трусит, подозревая, что за нами кроется шериф с понятиями.

– Из чего же это вы заключаете, милорд?

– Из того, что на указанном месте нельзя расположиться для дружеской беседы. Ничего нет радушного в таком приглашении. Ему, очевидно, хочется, не подвергая себя опасности и не обнаруживая любопытства, узнать, кто будет жариться под лучами солнца на бочонке с золою. А это очень легко устроить. Остановившись на углу улицы, он окинет взглядом аллею и увидит что нужно.

– Да, его хитрость ясна. Конечно, это человек с нечистой совестью, потому что не хочет действовать открыто. Верно, он принимает нас за каких-нибудь негодяев. То ли дело, если б он поступил, как следует порядочному малому, и дал знать, в какой гостинице...

– Стой, Вашингтон! Ты как раз угодил в точку. Он уже сообщил нам это.

– Каким образом?

– А вот каким, хотя, разумеется, это вышло с его стороны нечаянно. Маленькая уединенная аллея Черного Коня примыкает с одной стороны к «Нью-Гэдсби». В этой гостинице он и остановился.

– Что заставляет вас вывести подобное заключение?

– Да уж я отлично знаю. Он взял комнату против самой фонарной

будки, и завтра преспокойно сядет у окна со спущенными занавесками в 10 часов 22 минуты, а когда увидит нас сидящими на бочонке с золою, то скажет себе: «Одного из этих людей я видел в поезде», схватит в мгновение ока саквояж и удерет на край света.

Гаукинсу сделалось даже дурно при таком разочаровании.

– Все пропало, полковник; он непременно удерет, как пить дать!

– Нет, ошибаешься, он останется.

– Останется? Почему?

– Потому что не ты будешь сидеть на бочонке с золою, а я. Ты же подоспеешь с полицейским комиссаром и понятыми в полной форме – то есть это один офицер будет, конечно, в полной форме, – и вы нагрянете к нему, как только он подойдет и заговорит со мною.

– Ах, что за голова у вас, полковник Селлерс! Ведь мне никогда в жизни не придумать бы этого.

– Да не только тебе, а даже ни единому из графов Росмор, сколько их ни было в нашей родословной, начиная от Вильгельма Завоевателя и кончая Мельберри в качестве графа. Но теперь деловые часы, и граф во мне молчит. Пойдем, я покажу тебе самую комнату Пита.

Они очутились поблизости от «Нью-Гэдсби» около девяти часов вечера и прошли по аллее до фонарной будки.

– Вот оно, – с торжествующим видом произнес полковник, проводя рукой по воздуху и указывая на целый фасад гостиницы. – Вот оно где. Что, не говорил я тебе?

– Посудите, полковник, да ведь тут шесть этажей. Которое же из этих окон...

– Все окна, все. Пускай выбирает любое. Это для меня безразлично, раз я открыл его пристанище. Ступай, стань на углу и жди, а я обойду гостиницу.

Полковник походил туда и сюда среди сновавшего люда и, наконец, выбрал себе наблюдательный пост поблизости от эскалатора. Целый час публика массаами поднималась вверх и спускалась вниз, но у всех этих людей руки и ноги оказывались в целости. Наконец Росмор увидал одну подозрительную фигуру, увидал, правда, сзади, потому что не успел заглянуть ей в лицо. Но и беглого взгляда было для него достаточно. Перед ним мелькнула пастушья шляпа, завернутый в плед ручной саквояж и пустой рукав пальто, пришпиленный к плечу. В ту же минуту эскалатор поднялся и скрыл незнакомца с глаз. Селлерс, сияя восторгом, побежал к своему сообщнику.

– Ну, мошенник теперь в наших руках, майор! крикнул он. – Я отлично

видел его и узнаю где угодно и когда угодно, если этот человек повернется ко мне спиной. Вот мы и готовы! Остается заручиться содействием полиции.

Добившись желаемого – не без проволочек и хлопот, неизбежных в подобном случае, – приятели вернулись в половине двенадцатого домой в самом счастливом настроении и легли спать, мечтая о завтрашнем многообещающем дне. Посреди пассажиров на эскалаторе, где находился человек, заподозренный полковником в тождественности с одноруким Питом, стоял, между прочим, молодой родственник Мельберри Селлерса, но Мельберри его не видел и не догадывался, что так близко от него был виконт Берклей.

ГЛАВА VII

Придя к себе в комнату, лорд Берклей прежде всего вздумал занести в свой дневник последние «путевые впечатления», – что представляет для каждого англичанина-туриста нечто вроде священной обязанности. Приготавливаясь к этому занятию, он распаковал чемодан. Хотя на столе нашлись все письменные принадлежности, но там у чернильницы лежали одни стальные перья. Известно, что английская нация снабжает ими девятнадцать двадцатых населения всего земного шара, но истинный англичанин непременно предпочтет для собственного употребления доисторическое гусиное перо. Так поступал и наследник Росморов. Отыскав у себя в чемодане отличное гусиное перо, какого ему уже давно не попадалось, он принялся строчить свои заметки и, прилежно проработав над ними некоторое время, заключил запись следующими строчками:

«В одном я сделал непростительную ошибку. Прежде отплытия из Англии мне следовало сложить с себя свой титул и переменить фамилию».

Полюбовавшись немного своим пером, действовавшим скорее как мазилка, он продолжал:

«Все мои попытки слиться с простым народом и стать в его ряды останутся бесплодными до тех пор, пока я не стушуюсь на время, чтобы появиться потом под другим, вымышленным именем. Меня неприятно поражает в американцах их стремление знакомиться с английской знатью и заискивать перед ней. Хотя в них еще нет свойственного англичанам раболепия перед аристократией, однако оно угрожает скоро к ним привиться. Мое громкое имя самым nepocтижимым образом опережает меня. Так, между прочим, я записал свою фамилию, без прибавления титула, в списке приезжих в здешней гостинице, мечтая сойти за неизвестного путешественника простого происхождения, но конторщик тотчас крикнул: «Проводите милорда в комнату на лицевой стороне, на четвертом этаже, номер восемьдесят второй!» И прежде чем я успел добраться до подъемной машины, ко мне подскочил уже газетный репортер, желавший «интервьюировать» меня, как это здесь зовется. Нужно положить конец такому абсурду. Завтра же отправлюсь пораньше на поиски нашего американского претендента, исполню свой долг по отношению к нему, потом перемену квартиру и скроюсь от назойливого любопытства под вымышленным именем».

Берклей оставил дневник на столе, на случай, если бы ему вздумалось

занести туда еще какие-нибудь «впечатления» даже ночью, лег в постель и крепко заснул. Прошел час или два; вдруг он смутно почувствовал сквозь сон, что происходит что-то неладное. Минуту спустя виконт опять очнулся под оглушительный стук и грохот, хлопанье дверьми, крики и топот, раздававшиеся по всему отелю. Испуганный ночной тревогой, он вскоре различил в этом адском гвалте стук отворяемых окон, звон разбитого стекла, шлепанье босых ног по коридору, наконец, заглушаемые стоны, вопли отчаяния, мольбы и хриплую, отрывистую команду с улицы. Все кругом трещало, обрушивалось, и победоносное пламя со свистом вырывалось наружу.

Раздался торопливый стук в дверь:

– Спасайтесь! Горим!

Удары смолкли; голос замер в отдалении. Лорд Берклей вскочил с кровати и в темноте, среди удушливого дыма, бросился наудачу отыскивать вешалку с платьем; к несчастью, он споткнулся о стул, упал и заблудился впотьмах. В отчаянии он стал шарить вокруг себя по полу, ползал на руках и вдруг больно ударился головой об стол. Это было его спасением. Стол стоял как раз у двери. Схватив с него самый драгоценный для себя предмет – свой дневник, виконт опрометью выбежал из комнаты. Потом он пустился что есть духу по безлюдному коридору к тому месту, где красный фонарь обозначал выход на случай пожара. Дверь комнаты у фонаря оказалась отворенной; здесь пылал газовый рожок, пущенный вовсю, а на стуле лежало свернутое мужское платье. Берклей подскочил к окну, но не мог отворить его, а высадил попавшимся под руку стулом. Выбравшись на верхнюю площадку пожарной лестницы, молодой человек взглянул вниз. Там, у подножия здания, галдела и суетилась толпа народа. В море мужских голов мелькали кое-где женские и детские. Яркое пламя обливало эту подвижную картину колеблющимся багровым светом. Неужели он спустится туда в неприличном ночном костюме, точно выходец с того света? Нет, эта часть отеля еще не охвачена пламенем; горит только дальний край фасада. Он успеет надеть на себя чужое платье, оставленное здесь. Сказано – сделано. Платье пришлось ему по росту, но было широковато и отличалось вульгарной пестротой. Шляпа также удивила его своим фасоном. Одна половина сюртука наделась отлично, но в другую он никак не мог влезть: один рукав был откинут и пришпилен к плечу. Молодой лорд не стал возиться второпях; накинув одежду на плечо, он благополучно спустился с лестницы, и полицейские немедленно вывели его на безопасное место, за веревку, которою было оцеплено горящее здание, чтобы не подпускать к нему близко толпу. Шляпа странного фасона и

сюртук с болтавшимся рукавом сделали виконта предметом любопытства уличных зевак, хотя народ даже слишком почтительно расступался перед ним, давая дорогу. По этому поводу он в пылу досады составил уже в голове новую заметку, собираясь первым делом внести ее поутру в свой дневник: «Все напрасно. Американцы узнают лорда, несмотря ни на какое переодевание, и станут выказывать перед ним благоговение, граничащее с трепетом».

Выбравшись на простор, Берклей надел сюртук в оба рукава и пошел отыскивать себе скромное, покойное помещение. Это ему скоро удалось. Устроившись кое-как на новом месте, он лег в постель и скоро заснул. Поутру виконт осмотрел свое платье; оно хотя и не пришлось ему по вкусу, но было новое и опрятное. В карманах оказались ценности на довольно значительную сумму. Пять билетов по сто долларов. Около пятидесяти долларов мелкими ассигнациями и серебром. Сверх того, там нашлись и другие вещи: картуз табака, молитвенник, который не открывался, потому что служил футляром для флакона виски, – и записная книжечка без имени владельца. В ней были разбросаны отрывочные безграмотные заметки, написанные нетвердым почерком, записи жалованья, суммы выигрышей и проигрышей на пари, счета по содержанию и покупке лошадей. Попадавшиеся здесь имена поражали своей странностью: «Шестипалый Джек», «Молодой человек, боящийся собственной тени» и т. п. Ни писем, ни документов.



Виконт задумался, как ему быть. Его чековая книжка сгорела. В таком случае он заимообразно воспользуется мелкими ассигнациями и серебром, найденными в карманах платья, часть этих денег употребит на газетные объявления, чтобы отыскать неизвестного владельца, а на остальное будет жить, приискивая себе работу. Первым делом Берклей послал за утренней газетой, желая прочитать описание пожара. И что же? На первой странице ему бросилось в глаза напечатанное жирным шрифтом известие о своей собственной смерти! Репортер не поскупился на подробности. В статье было обстоятельно изложено, как виконт Берклей, с природным героизмом знатного дворянина, спасал из огня женщин и детей, пока его собственное спасение стало невозможным. «Тут, в виду целой массы народа, проливавшей слезы, он скрестил руки, спокойно ожидая приближения неумолимого врага, и, стоя таким образом посреди бушующего огненного

моря и клубов дыма, благородный юный наследник знаменитого графского рода Росморов был охвачен вихрем пламени и в этом пылающем ореоле навсегда скрылся от человеческих взоров». Все это было до того благородно, великодушно и прекрасно, что виконт невольно умилился до слез над своим собственным рыцарским самоотвержением. Наконец он сказал себе: «Теперь я знаю, что делать. Милорд Берклей умер. Пусть будет так. Он умер с честью, и это послужит утешением отцу. После этого мне не нужно обращаться к американскому претенденту. Обстоятельства сложились как нельзя лучше. Остается только принять другое имя, чтобы вступить на новый путь. В первый раз я могу вздохнуть вполне свободно. И как легко мне делается, какая свежесть и энергия вливаются в грудь! Наконец-то я сделался человеком, стал на равную ногу со всеми. Только своими личными заслугами, как подобает мужчине, хочу я добиться житейского успеха или погибнуть, если окажусь не способным к борьбе. Сегодня счастливейший день в моей жизни, самый безоблачный и радостный!»

ГЛАВА VIII

– Эдакое несчастье, Гаукинс!

И утренняя газета выпала из рук полковника.

– В чем дело?

– Он погиб! Светлая личность, юный, даровитый, благороднейший из своего знаменитого рода. Погиб среди пламени, в сиянии лучезарного ореола!

– Да кто погиб-то?

– Мой дорогой, бесценный молодой родственник – Киркудбрайт-Ллановер-Марджиорибэнкс-Селлерс, виконт Берклей, сын и наследник узурпатора Росмора.

– Не может быть!

– Верно, говорю вам, – верно!

– Когда же это случилось?

– Вчерашней ночью.

– Где?

– Здесь у нас, в Вашингтоне, куда он прибыл вечером из Англии, как сообщает газета.

– Что вы говорите!

– Гостиница сгорела дотла.

– Какая гостиница?

– «Нью-Гэдсби».

– Вот тебе раз! Значит, мы лишились их обоих?

– Как это «обоих»?

– А Пит? Однорукий Пит?

– Ах, Господи! Про него-то я совсем забыл, да наверно он остался жив. Я не думаю...

– Вы не думаете! Ну, конечно! Ведь нам без него хоть в петлю – чистый зарез! Пропади пропадом целый миллион виконтов – Бог с ними! – только бы уцелел однорукий Пит – наша единственная опора и спасение.

Они стали внимательно просматривать газету и ахнули, когда прочли, что во время переполоха в коридоре отеля видели бегущего однорукого человека в нижнем белье. Совсем потеряв голову с перепугу, он не хотел слушать никаких увещаний и бросился вниз по внутренней лестнице, которая должна была привести его к неминуемой гибели. На спасение этого несчастного не было никакой надежды.

– Бедняга! – вздохнул Гаукинс. – Не знал он, сердечный, что у него под боком друзья! Не надо нам было уходить оттуда; мы, пожалуй, спасли бы его.

Граф поднял глаза и сказал спокойным тоном:

– В том, что он умер, нет ровно никакой беды. Раньше однорукий Пит мог ускользнуть от нас, а теперь он в нашей власти. Попался!

– Попался? Каким это образом?

– Очень просто. Я возьму и материализую его.

– Росмор, умоляю вас... не шутите надо мною так жестоко! Неужели это возможно? И вы сумеете?

– Сумею. Это так же верно, как то, что вы тут сидите. Непременно надо его материализовать.

– Дайте скорее вашу руку! Позвольте мне пожать ее. Я погибал, но вы воскресили меня. Приступайте же к делу, не теряя ни минуты!

– Ну, нет, с этим придется подождать. К тому же, нам вовсе незачем торопиться – при данных обстоятельствах. Прежде всего я должен подумать об исполнении кое-каких весьма серьезных обязанностей. Тот несчастный молодой аристократ...

– Ах, да! Простите, ради Бога, мою эгоистическую забывчивость. Ведь вас постигло новое семейное горе. Конечно, первым делом вы должны материализовать своего родственника; это вполне понятно.

– Хм... я... собственно, не имел этого в виду, но, впрочем... как же так?.. Действительно, ведь и его следует материализовать. О, Гаукинс, себялюбие самая низкая черта человеческого характера. Мне только что пришло в голову, что наследник узурпатора отлично сделал, убравшись на тот свет. Но ты простишь мне эту минутную слабость и позабудешь о ней. Не вспоминай никогда, что Мельберри Селлерс позволил себе однажды унизиться до такой мысли. Я материализую его; клянусь честью, это дело решенное, хотя бы в Берклее сидела целая тысяча наследников, и все они, опираясь на свои права, протягивали бы отсюда руки за несправедливо присвоенными владениями Росморов, заграждая дорогу настоящему графу.

– Вот теперь заговорил истинный Мельберри Селлерс, а тот – другой – был не вы, старый дружище.

– Гаукинс, мой мальчик, ведь я совсем позабыл сказать тебе одну вещь. Сейчас только вспомнил. Нам следует соблюдать крайнюю осторожность в одном деле.

– В каком?

– Да насчет материализации. О ней не должен подозревать никто, понимаешь? Ни единая душа. Не говоря уже о моей жене и дочери –

женщинах нервных, впечатлительных, но даже наши негры убегают из дома, если пронюхают что-нибудь.

– Это верно. Хорошо, что вы мне сказали. Я иногда бываю неводержан на язык, если меня не предупредить заранее.

Тут Селлерс подошел к стене, нажал пуговку электрического звонка и стал нетерпеливо посматривать на дверь. Никто не являлся, и он повторил свою попытку, ожидая результата. Следя за его действиями, Гаукинс принялся превозносить своего друга, отзываясь о нем, как о самом передовом человеке, который немедленно применяет у себя все новейшие изобретения науки и неумоимо идет в ногу с современной цивилизацией, не отставая ни на шаг во всем, касающемся улучшения материального быта. Наконец полковник оставил в покое пуговку (на самом деле не имевшую электрического провода) и позвонил в большой обеденный колокол, стоявший на столе, заметив небрежным тоном, что теперь, к своему удовольствию, он убедился в полной непригодности вновь изобретенной сухой батареи.

– Звонок Грэгама никуда не годится, но я был обязан испробовать его. Уж один тот факт, что я произвел над ним пробу, должен был вызвать доверие публики и дать толчок изобретению. Я говорил изобретателю, что в теории сухая батарея превосходна, но на практике – извините! И вот результат перед тобою. Прав ли я? Что скажешь ты на это, Вашингтон Гаукинс? Ты видел, как я два раза нажимал пуговку. И что же вышло? Резонно ли я говорил или нет?

– Вам и без того известно мое мнение о вас, полковник Селлерс. По-моему, вы понимаете толк решительно во всем. Если бы тот человек знал вас так же хорошо, как я, то принял бы к сведению ваши слова и бросил бы к черту свою сухую батарею.

– Изволили звонить, ма'с Селлерс?

– Нет, ма'с Селлерс не звонил.

– Так, значит, это вы, ма'с Вашингтон? Я слышал звонок, сэ.

– Нет, и мистер Вашингтон не звонил.

– Ах ты, Господи! Кто же тогда звонил?

– Лорд Росмор.

Старый негр всплеснул руками и воскликнул:

– Экий я дурак! Опять позабыл это имя. Эй, Джинни, иди-ка сюда. Ну, поскорее, голубушка!

Явилась Джинни.

– Сделай то, что прикажет тебе лорд, а я пойду вниз и стану заучивать эту фамилию.

– Как же, дожидайся! Ты, кажется, спятил с ума. Зачем я стану исполнять приказание, когда позвали тебя?

– Да не все ли это равно? Когда звонит звонок, надо же кому-нибудь прийти, а старый господин сказал мне...

– Ступайте вон и бранитесь лучше на кухне!

Голоса спорящих стали едва слышны издали, и тогда граф прибавил:

– Чистая беда со старыми слугами, которые прежде были вашими невольниками и находились на положении друзей.

– И членов семьи.

– Вот именно членов семьи. А подчас они даже разыгрывают роль хозяев дома. Например, хоть бы эти двое. Они отличные люди, почитают и любят своих господ, преданны, честны, но – черт их побери! – делают что хотят, вмешиваются в разговоры, лезут, надоедают. Просто убил бы их в другой раз со злости.

Последние слова бессознательно сорвались у Селлерса с языка и, разумеется, не имели серьезного значения, однако они натолкнули его на блестящую идею; впрочем, так случалось с ним на каждом шагу.

– Ведь я хотел, собственно, послать за своим семейством, чтобы сообщить печальную новость, – спохватился хозяин.

– Ну, для этого не стоит опять связываться с прислугой. Я сам схожу за вашими дамами.

Когда он ушел, граф принялся обдумывать осенившую его богатую идею.

– Да, – сказал он про себя, – когда мой способ материализации окажется несомненным, то я заставлю Гаукинса убить Даниэля с Джинни, и после того они сделаются послушнее. Несомненно, что материализованного негра легко загипнотизировать до такой степени, чтоб он перестал болтать всякий вздор. Это состояние можно продлить сколько угодно и изменять по произволу – иногда слуга будет совсем молчаливым, иногда более разговорчивым, более деятельным, подвижным, смотря по надобности. Это – идея первый сорт. Надо постараться применить ее к делу посредством винта или чего-нибудь другого.

Тут вошли обе леди с Гаукинсом, а за ними незваные негры. Хитрые бестии принялись сметать пыль и чистить мебель щетками, пронюхав, что у господ затевается что-то интересное.

Селлерс приступил к сообщению важной новости с необыкновенным достоинством и торжественностью, деликатно предупредив сначала дам, что их ожидает новый удар судьбы в то время, когда они еще не успели опомниться от недавней тяжелой потери. Потом он взял газету и дрожащими

губами, со слезами в голосе прочел описание геройской смерти виконта.

Это известие вызвало взрыв неподдельной горести и участия со стороны всех слушателей. Старшая леди заплакала, представляя себе, с какой гордостью узнала бы мать этого великодушного юноши о подвиге сына, будь она в живых, и как велико было бы ее отчаяние. Негры также взвыли, выражая свое одобрение и жалость с красноречивой искренностью и простотой, свойственными их расе. Гвендолен была тронута: трагическое происшествие сильно подействовало на ее мечтательную натуру. Она восхищалась душевным благородством виконта, которое, в связи с его знатностью, делало Берклея в ее глазах идеальным героем. Если бы ей удалось встретить такого человека, то она пошла бы ради него на все жертвы и не пощадила бы даже собственной жизни. Как жаль, что они не имели случая свидеться! Самой короткой встречи, недолгого разговора с такой возвышенной личностью было бы достаточно, чтобы облагородить характер Гвендолен, сделать ее навсегда недоступной для низких искушений – дурных мыслей и предосудительных поступков.

– А найдено ли тело, Росмор? – спросила жена.

– Как же. То есть, собственно, нашли много тел. Его труп должен быть в числе прочих, но они все неузнаваемы.

– Что же ты намерен делать?

– Я отправлюсь на место пожара, признаю труп Берклея и отошлю его к убитому горем отцу.

– Но, папа, ведь вы никогда не видали этого молодого человека?

– Нет, Гвендолен, а что?

– Как же вы его признаете?

– Я?.. Н-да... там сказано, что все мертвые тела неузнаваемы. Ну, я пошлю отцу одно из них – какой уж тут выбор.

Гвендолен знала по опыту, что если отец заберет что-нибудь в голову, то всякая попытка разубедить его будет напрасна. Кроме того, он не упустит случая появиться на месте печального происшествия в интересной и официальной роли близкого родственника погибшего виконта. Поэтому дочь не сказала ни слова, пока Селлерс не потребовал корзинки.

– Корзинку, папа? Для чего она вам?

– А, может быть, я найду один пепел.

ГЛАВА IX

Граф с Вашингтоном отправились в печальную экскурсию, разговаривая между собой дорогой.

– И, по обыкновению, опять одно и то же!

– Что такое, полковник?

– Их было ровно семь штук в той гостинице, – этих злополучных актрис. И, конечно, все они погорели.

– Сгорели, хотите вы сказать?

– Нет, спаслись, как бывает всегда, но в то же время, как обыкновенно, ни одна из них не успела захватить с собою своих драгоценностей.

– Странно!

– Не то что странно, а это самая непонятная вещь, какая только может быть. Никакие уроки решительно не идут им впрок. Эти женщины, по-видимому, способны задолбить только что-нибудь из книги. В некоторых случаях их преследует какая-то неумолимая судьба. Возьмем хоть драматическую актрису... Как, бишь, ее зовут?.. Которая разыгрывает еще такие душераздирающие роли. Она приобрела громкое имя – на ее спектакли сбегаются, как на собачью травлю, – а все из-за чего? Из-за пожарных катастроф по разным гостиницам.

– Как, неужели это способствовало ее артистической славе?

– Конечно, нет, но ее имя стало популярным. Из-за этого и бегут на нее смотреть, а чем она прославилась, про то забывают. Сперва она стояла в самом низу лестницы, совсем никому не известная, получала всего по тридцать долларов в неделю и должна была сама прокладывать себе пути.

– Какие пути?

– Ну, одним словом, находить побочные средства на наряды и театральные костюмы. И вот в один прекрасный день эта актриса погорела, причем у нее погибло бриллиантов на тридцать тысяч фунтов стерлингов.

– Да откуда же она их взяла?

– Кто знает? Вероятно, надарили юные хлыщи да плешивые старикашки из первых рядов кресел. Все газеты трубили о ней. Тогда она потребовала увеличения оклада и получила его. Отлично. Потом у нее опять сгорели все бриллианты, и это до такой степени подняло пострадавшую в глазах публики, что она попала в разряд театральных звезд.

– Ну, сделаться знаменитой благодаря только пожарам в гостиницах не

велика заслуга, да и проку в том не много.

– Очень ошибаешься. Не всякому выпадает такое счастье, а эта актриса просто в сорочке родилась. Где бы ни горела гостиница, уж она тут как тут, а если самой ей нельзя там быть, то непременно в сгоревшем отеле очутятся ее бриллианты. Чем ты это объяснишь, как не особенным, необыкновенным счастьем?

– Никогда не слыхивал о таких чудесах. Должно быть, у нее сгорело несколько кварт бриллиантов?

– Какое кварт, скажи лучше, несколько четвериков. Дошло до того, что ее боятся пускать в гостиницы. Думают, что она накликает пожар. Кроме того, и страховые общества смотрят на нее косо. В последнее время ей что-то не везло, но вчерашний пожар опять поправил ее дела. Вчера у нее сгорело драгоценностей на шестьдесят тысяч фунтов стерлингов.

– Она просто сумасшедшая. Будь у меня бриллиантов на шестьдесят тысяч фунтов стерлингов, я никогда не рискнул бы взять их с собою в отель.

– И я тоже, но попробуй вразуми актрису. Та, о которой идет речь, горела тридцать пять раз. Но уверяю тебя, что если бы сегодня ночью сгорела гостиница в Сан-Франциско, она непременно ухитрилась бы погореть и там, вот помяни мое слово. Ужасная дура! Говорят, у нее рассеяны бриллианты по всем гостиницам в Америке.

Когда они пришли к месту пожара, несчастный старый граф взглянул на выставленные трупы и поспешил отвернуться, потрясенный ужасным зрелищем.

– Правду говорили, Гаукинс, – произнес он, – самые близкие друзья не узнали бы ни одного из этих пятерых покойников. Выбери ты любой труп, я не могу.

– Да какой же мне взять?..

– Который хочешь, все равно.

Однако полицейские уверили графа, – они его знали, он был известен в Вашингтоне всякому, – что, судя по месту нахождения трупов, ни один из них не мог быть останками его знатного молодого родственника. Они указывали тот пункт сгоревшей гостиницы, где, если верить газетным отзывам, постигла виконта геройская смерть; потом указали ему другое место совсем на противоположном конце, где должен был очутиться его прах, если он задохся от дыма в своей спальне; наконец, указали еще третье место, опять на дальнем расстоянии от первых двух, где он мог погибнуть, тщетно стараясь спастись через выход в задней стене дома. Но здесь трупов не обнаружили. Полковник смахнул слезу и обратился к Гаукинсу.

– Что, не правду я говорил насчет пепла? Чуяло мое сердце! Потрудись-ка, сбегай в лавку да купи мне еще пару корзин.

Они благоговейно набрали по корзине золы со всех трех указанных мест и повезли их домой. Надо было придумать наилучший способ переправы этих останков в Англию, где их ожидало погребение с подобающими почестями. Мельберри Селлерс считал себя обязанным сделать в данном случае все от него зависящее, в знак уважения к высокому званию покойного.

Корзины были поставлены на стол в комнате, служившей прежде библиотекой, гостиной и мастерской, а теперь переименованной в аудиенцзал, после чего друзья отправились наверх, в чулан, набитый разным хламом, чтобы поискать там британский флаг как необходимую принадлежность погребальной помпы. Минуту спустя вернулась домой и леди Росмор. Она увидела корзинки как раз в ту минуту, когда ей попалась на глаза старая Джинни. Хозяйка не на шутку рассердилась и стала бранить ее:

– Чего ты еще не выдумаешь! Какая пришла тебе блажь пачкать стол в парадной комнате этими гадкими корзинами с золою?

– С золою? – Негритянка подошла посмотреть и всплеснула руками. – Да я и в жизни своей не видывала эдакой гадости!

– Разве не ты притащила их сюда?

– Кто, я? Первый раз вижу. Это, должно быть, Даниэль. Старый болван скоро совсем спятит с ума, мисс Полли.

Но Даниэль также оказался тут ни при чем, когда его позвали и расспросили.

– Совсем не знаю, откуда это взялось, – пояснил он. – Уж не с пожара ли?..

– Ох! – простонала леди Росмор, задрожав всем телом. – Теперь я понимаю. Отойдите прочь. Это его пепел.

– Его, м'леди?

– Ну, да, вашего молодого господина, ма'са Селлерса из Англии, который сгорел вчерашней ночью.



Миледи не успела перевести дух после сказанных ею слов, как уже осталась в комнате одна. Она пошла отыскивать мужа с твердым намерением помешать исполнению его программы, в чем бы последняя ни заключалась, «потому что, – мысленно прибавила почтенная дама, – когда Мельберри заберет себе в голову разные чувствительные истории, он становится совсем болваном и способен натворить неслыханных глупостей, если дать ему волю». Она столкнулась с ним, когда он нес из чулана британский флаг. Тут полковник сообщил ей, что желает воздать умершему подобающие почести и с этой целью решил пригласить на проводы покойника правительство и публику. Однако жена перебила его:

– Послушай, Мельберри, все это прекрасно; никто не осудит тебя за внимание к родственнику. Но как ты неловко берешься за дело! Подумай сам: ну, можно ли вертеться вокруг корзинки с золою и корчить печальную мину? Какая тут торжественность? Ровно никакой. Ведь всякому придет в голову, что в той золе, пожалуй, и нет человеческого праха. Да это подумают еще при виде одной корзинки, а что скажут, когда мы выставим целых три? При одном провожатом такая погребальная церемония

покажется смешною, а при огромной процессии и подавно. Ведь эдак наберется, чего доброго, тысяч пять народу. Шутка сказать. Нет, брось эту затею; придумай что-нибудь другое.

Полковник поразмыслил и уступил доводам жены, когда нашел, что женский инстинкт подсказал ей верное решение. Он решил только просидеть вечер у праха виконта, вдвоем с Гаукинсом. Однако и это показалось излишним миссис Селлерс. Впрочем, она не стала больше спорить, сознавая, что ее муж поступает так, движимый своей честной натурой и сердечной добротой. В самом деле, в этой чуждой стране злополучные останки молодого лорда нигде не могли найти себе приюта и дружеского внимания, кроме дома полковника Селлерса. Последний задрапировал британским флагом все три корзины, повязал клочок траурного крепа на дверную ручку и заметил наконец с довольным видом:

– Ну, теперь все хорошо. Мы устроили его, как могли при настоящих обстоятельствах. Впрочем, нет! В данном случае надо поступить со своими ближними, как мы хотим, чтобы поступали с нами. Недостаёт ещё одного.

– Чего, мой друг? – спросила леди Росмор.

– А траурных гербов.

Жена находила, что лицевой фасад их дома и без того достаточно испещрен этими украшениями. Перспектива увеличения декораций подобного рода привела ее в ужас, и она проклинала в душе новую затею мужа.

– Я полагаю, – нерешительно заметила бедная женщина, – что эту честь оказывают только очень, очень близким родственникам, которые...

– Вы правы, вы совершенно бесспорно правы, миледи, но у нас нет более близких родственников, чем семья узурпатора. Потому нам нельзя поступить иначе. Мы – рабы аристократического обычая и должны ему подчиняться.

Траурные гербы отличались на этот раз излишней громадностью и пламенели подобно вулкану, представляя смешение самых ярких красок. Но эта пестрота льстила варварским вкусам графа и удовлетворяла его пристрастие к симметрии и полноте; весь лицевой фасад дома буквально исчезал под этими символами знатности и могущества рода Росморов.

Миледи с дочерью присоединились вечером к мужчинам, сидевших у праха почти до полуночи, и все четверо принялись обсуждать вопрос о том, что следует предпринять с останками молодого лорда. Росмор непременно хотел отослать их на родину в сопровождении особой комиссии и с официальными свидетельствами, но жена колебалась и нерешительно спросила:

– Неужели ты собираешься отослать все три корзины?

– Ну, конечно, все.

– Сразу?

– Это к отцу-то? Ну, нет, ни за что. Подумай, какой ему будет удар. Гораздо лучше, если мы станем отсылать их по одной, чтобы он получил их не вдруг.

– И вы полагаете, что так ему будет легче, папа?

– Разумеется, Гвендолен. Вспомни, что ты молода и вынослива, а ведь он старик. Если отправить ему все сразу, он, пожалуй, не выдержит. Но разделить посылку на три части будет несравненно безопаснее. Сначала прибудет одна корзина, потом, через значительный промежуток времени, – другая. Так он мало-помалу и привыкнет к своему горю, пока придут все три. Кроме того, послать такую вещь на трех кораблях гораздо вернее – на случай бурь и кораблекрушений.

– Нет, отец, мне ваша мысль совсем не нравится. Будь я на месте старого графа, для меня было бы ужасно получить прах умершего сына в таком... в таком...

– По частям, в рассрочку, – подсказал Гаукинс, гордясь своей находчивостью.

– Ну, да, в разрозненном виде. Я извелась бы от тоски за это время. Ничего не может быть хуже откладывания, замедления, ожидания в таком деле, как похороны...

– О, в данном случае все обойдется несравненно проще, – подхватил граф успокоительным тоном. – Где же такому старому джентльмену выдержать столько проволочек? Он просто устроит трое похорон.

Леди Росмор с изумлением вскинула глаза на мужа:

– Хорошо облегчение, нечего сказать! Вот уж придумал штуку. Берклея похоронят сразу; в этом я уверена.

– И я полагаю также, – подтвердил Гаукинс.

– Да и я, без сомнения, согласна с вами, – заметила дочь.

– Все вы ошибаетесь, – возразил граф, – я сейчас докажу вам это. Ведь только в одной из наших корзин заключается прах виконта?

– Ну, и отлично! – воскликнула леди Росмор. – Дело ясно, как день; возьми и похорони эту корзину.

– Разумеется, – вмешалась леди Гвендолен.

– Извините, это не так просто, – возразил граф, – ведь мы не знаем, в которой именно находится он. Известно только, что его прах лежит в одной из корзин, но остальное представляет загадку. Теперь, надеюсь, вы меня поняли. По-моему, решительно нет другого исхода, как устроить трое

похорон.

– Сделать три могилы, три монумента, три надписи? – спросила дочь.

– А то как же иначе? По крайней мере, я поступил бы таким образом.

– Этого нельзя, отец. В каждой надписи будет повторяться одно и то же имя, одни и те же факты, и каждая из них должна гласить, что под всеми тремя монументами покоится прах виконта Берклея? Воля ваша, это уж никуда не годится.

Граф беспокойно заерзал на своем стуле.

– Да, – согласился он, – это немаловажное препятствие. Право, теперь я уж и не знаю, что и придумать.

Наступило общее молчание. Наконец Гаукинс осмелился заметить:

– А что, если бы смешать вместе содержимое всех трех корзин?..

Хозяин схватил его руку и горячо пожал в порыве благодарности.

– Вот кто разрешил проблему! – воскликнул он. – Один корабль, одни похороны, одна могила, один монумент, – как это отлично придумано! Твоя находчивость делает тебе честь, майор Гаукинс, а меня избавляет от неприятного затруднения и лишнего горя, да и несчастному отцу придется тогда меньше страдать. Итак, решено: он будет отправлен только в одной корзине.

– Когда? – спросила жена.

– Завтра же, конечно.

– На твоём месте я подождала бы, Мельберри.

– Подождала? Зачем?

– Охота тебе мучить убитого горем бездетного старика?

– Видит Бог, я не желал бы этого.

– Тогда обожди, пока он сам пошлет за останками сына. Если ты поступишь так, то навсегда избавишь его от самой жестокой пытки, какую только можно придумать для родительского сердца, то есть от известности, что виконт действительно погиб. Поверь мне, отец никогда не пошлет за его прахом.

– Почему же?

– Потому что послать за ним и убедиться в ужасной истине – значит для старика потерять последнюю слабую надежду на то, что его мальчик, может быть, еще спасся от гибели и когда-нибудь вернется к своему отцу.

– Однако, Полли, он все равно узнает из газет, что Берклея сгорел.

– Старый граф убедит себя, что это неправда; он будет спорить против самых очевидных доказательств смерти сына и проживет с этой надеждой до конца своих дней. Если же останки будут присланы к нему, и этот несчастный потеряет всякую возможность сомневаться...

– Нет, нет, он никогда их не получит, Полли; ты спасла меня от преступления, и я буду всю жизнь благословлять тебя за это. Мы благоговейно предадим прах земле, и старик никогда не узнает о том.

ГЛАВА X

Легко было на душе у молодого лорда Берклея. Жадно вдыхал он воздух свободы, чувствуя в себе так много непочатых сил перед вступлением на новое поприще. Но, однако... если борьба покажется ему слишком суровой с первых шагов, если он поддастся малодушию, то, пожалуй, в минуту слабости почувствует искушение отступить. Положим, этого может и не случиться, но нельзя слишком рассчитывать и на себя, а потому вполне простительно принять меры предосторожности и сжечь за собою мосты. Конечно, ему следует тщательно разыскивать по газетам владельца денег, случайно очутившихся в его распоряжении, но вместе с тем надо сделать так, чтобы нельзя было воспользоваться ими под давлением обстоятельств. И он отправился в контору газеты подать объявление, а потом зашел в один из банков, куда внес на хранение пятьсот фунтов стерлингов.

– Ваше имя? – спросили его.

Берклею с минуту колебался; легкая краска ударила ему в лицо. Он позабыл придумать себе заранее вымышленную фамилию и назвал первую попавшуюся, какая пришла ему в голову.

– Говард Трэси.

По уходе молодого лорда клерки многозначительно переглянулись между собой.

– Видели? Ковбой-то покраснел.

Итак, первый шаг был сделан. Но деньги все еще оставались в распоряжении виконта, а он этого не хотел. Берклею завернул в другой банк, сделал на него перевод из первого и взял чек в пятьсот фунтов стерлингов. Эта сумма опять-таки была положена на имя Говарда Трэси. Его попросили дать несколько образчиков своей подписи, что он и сделал. Распорядившись таким образом, виконт ушел оттуда, гордый своей самостоятельностью, уверенный в своих силах и довольный.

«Теперь для меня нет возврата назад, – думал он про себя. – Если бы я захотел взять деньги из банка, то должен представить удостоверение личности, а к этому мне закрыт легальный путь. Мосты сожжены: остается работать или умереть с голоду. Но я готов ко всему и не робею».

И он телеграфировал отцу:

«Благополучно спасся во время пожара гостиницы. Принял вымышленное имя. Прощайте».

Вечером, блуждая по окраинам города, он набрел на маленькую кирпичную церковь, на стене которой была приклеена афиша: «Прения клуба ремесленников. Приглашаются все желающие». Туда шли люди, преимущественно принадлежавшие к рабочему классу. Берклей последовал за ними и занял свободное место. Внутренность церкви отличалась простотой и отсутствием всяких украшений. Крашеные лавки не были ничем обиты; кафедру заменяла эстрада. На ней помещался председатель, а рядом с ним какой-то господин с рукописью на коленях, очевидно, собиравшийся держать речь. Церковь вскоре наполнилась прилично одетой, скромной публикой, которая держалась чинно и тихо. Тогда председатель обратился к ней с такими словами:

– Референт, желающий беседовать с вами сегодня вечером, – старинный и хорошо известный вам член нашего клуба, мистер Паркер, один из создателей «Ежедневной демократической газеты». Предметом своего реферата он избрал американскую прессу, причем основным текстом ему послужили два изречения из новой книги Маттью Арнольда. Он желает, чтобы я прочел вам их. Первое гласит: «Гёте выразился где-то, что «трепет благоговения», то есть «почтительность», есть самое лучшее в человечестве».

Далее Арнольд замечает: «Если бы кто-нибудь отыскивал наивернейшее средство искоренить и убить в целой нации дисциплину уважения, ему стоило бы только заглянуть в американские газеты».

Паркер встал и поклонился, приветствуемый горячими аплодисментами; затем принялся читать внятным, звучным голосом, старательно оттеняя каждую фразу и не торопясь. Слушатели то и дело выражали ему свое одобрение по мере того, как он продолжал.

Референт начал с того, что самая важная функция общественного органа печати в любой стране состоит в поддержке и дальнейшем развитии национального чувства, национальной гордости, с той целью, «чтобы народ любил свое отечество, свои государственные учреждения и не увлекался иноземщиной». Паркер очертил приемы журналистов в отсталых варварских странах, где печать обязательно обеляет насилие и дикий произвол властей. Потом он перешел к английской прессе: «Английские газеты, – говорил он, – предпочтительно перед всеми другими изоощряются в искусстве сосредотачивать внимание публики на известных предметах, тщательно отклоняя его от других. Так, например, они вечно толкуют о славе Англии, о блеске ее имени, восходящем к отдаленным векам и осеняющем ее знамена, с которых смотрит тысячелетнее прошедшее, но вместе с тем та же пресса старательно обходит то обстоятельство, что все

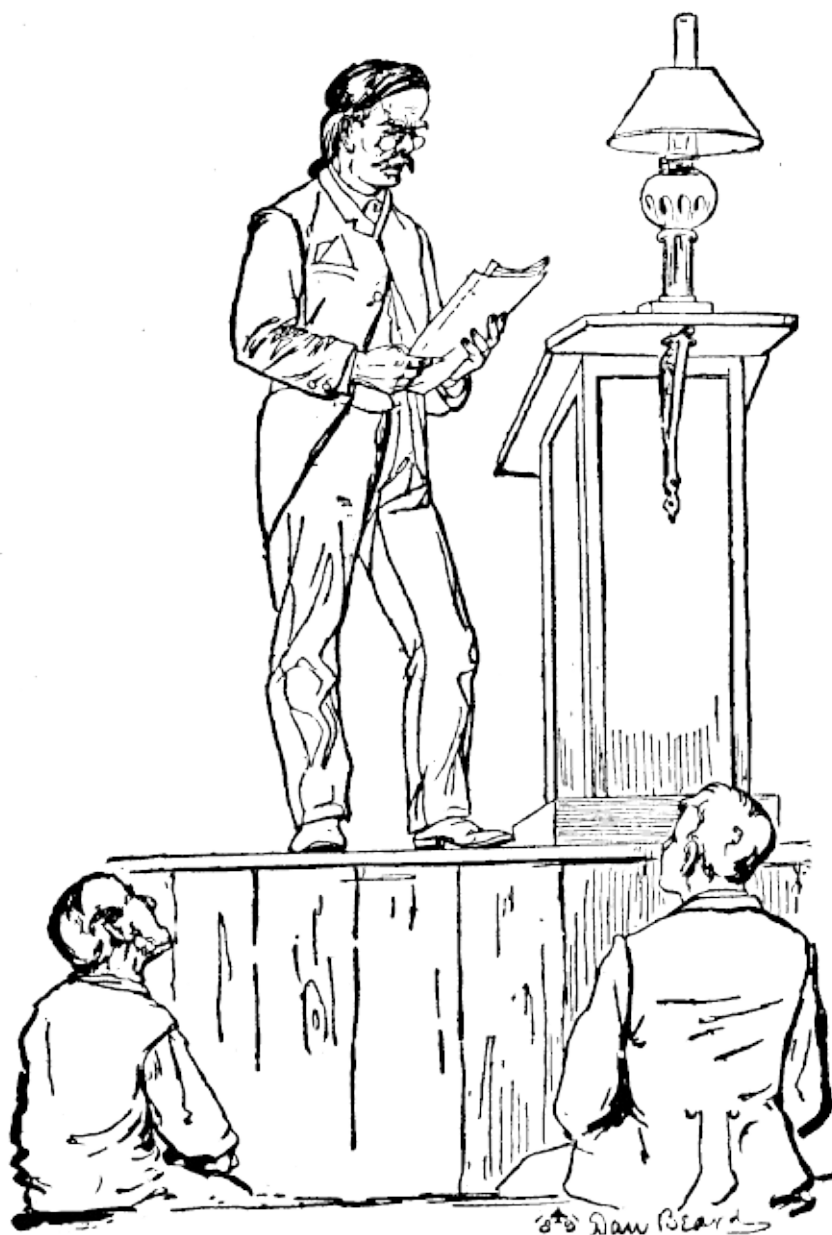
славные деяния героев и громкие победы служили только к обогащению и усилению привилегированного, излюбленного меньшинства, окупаясь кровью, потом и обнищанием массы народа, которая побеждала врагов, завоевывала земли, но не получала своей доли выгод, оставаясь ни при чем. Потом усилиями печати в народе поддерживается любовь и благоговейное почтение к королевскому трону, как к чему-то священному, и старательно замалчивается тот факт, что ни единый трон не был занят путем добровольного избрания от лица народного большинства, и что таким образом ни один из них, собственно, не имеет права существовать». Развивая далее эту мысль, оратор высказался, что ни один символ верховной власти, красующийся на флагах и на значках, не должен по справедливости иметь иного девиза, кроме адамовой головы со скрещенными под нею костями, – девиза, характеризующего известный промысел, который отличается от королевского сана только с практической стороны, как розничная торговля от торговли оптом. И газеты заставляют граждан взирать с почтительной покорностью на это курьезное измышление государственной политики со всеми ее махинациями, на господствующую церковь и на отжившее противоречие общественной справедливости, называемое наследственной знатностью, но тщательно маскируют от общественного сознания ту истину, что слабый тотчас подвергается гонению, если не захочет нести своего ярма, что его ловко грабят, не прибегая к явному насилию, но придумывая новые налоги на предметы потребления, что, наконец, все почести и выгоды достаются вовсе не тому, кто делает дело.

Референт полагал, что мистеру Арнольду, как человеку просвещенному и наблюдательному, следовало бы понять, что именно те свойства, которых он не находит в американской прессе, – почтительность и уважение, – сделали бы последнюю бесполезной для американцев, отняли бы у нее то, что отличает ее от прессы других стран, придает ей оригинальную окраску, то есть откровенную и веселую непочтительность американских журналистов, которая возвышает их над общим уровнем, представляя самое драгоценное из их качеств, «так как, – закончил Паркер, – миссия печати, не понятая мистером Арнольдом, заключается в том, чтобы стоять на страже свободы нации, а не ее позорных деяний и мошенничеств». По мнению референта, если бы учреждения старого света подвергались в продолжение пятидесяти лет перекрестному огню такой насмешливой, язвительной прессы, какова американская, то «монархия и все связанные с нею злоупотребления исчезли бы из христианского мира. Монархисты вольны в том сомневаться, но почему бы тогда не произвести

подобного опыта в одной из наиболее отсталых монархических стран?»

Наконец, в заключение своей речи, оратор произнес такую тираду:

– Да, нашу печать упрекают в отсутствии почтительности – качества, взлелеянного Старым Светом. Но мы должны быть искренне благодарны ей за это. При своей ограниченной почтительности она, по крайней мере, уважает то, что заслужило уважение самой нации; таково ее правило, чего вполне достаточно. Пусть другой народ почтительно склоняется перед чем угодно, нам нет до этого никакого дела. Наша печать не уважает ни королей, ни так называемой знати, ни раболепия перед господствующей церковью; она не уважает законов, отнимающих в пользу старшего сына долю наследства младшего, она не уважает никакого мошенничества, позора и бесчеловечности, будь они освящены стариною или чем бы то ни было, если благодаря им один гражданин становится выше своего соседа только по случайному праву рождения; она не почитает никакого закона или обычая, будь он старинным, отжившим или священным, если этот закон или обычай заграждает дорогу лучшему человеку в стране к лучшему месту между его согражданами и лишает его священного права собственности, возможности возвыситься, опираясь на личное достоинство. С точки зрения Гёте – добродушного поэта, боготворившего провинциального трехкратного владетельного князька и провинциальную знать, – наша пресса, разумеется, повинна в недостатке «благоговейного трепета», иначе говоря, почтительности, разумея почтительность перед никелированными бляхами и всякой дребеденью. Но будем искренне надеяться, что такой порядок вещей останется неизменным, так как, по моему мнению, разборчивая непочтительность есть созидательница и охрана человеческой свободы, а противоположное ей качество создает, лелеет и сохраняет все формы человеческого раболепства, телесного и духовного.



После этих слов Трэси с восторгом подумал про себя: «Как я рад, что приехал в Америку. Я был прав и не напрасно искал страны, где процветают такие здоровые принципы и теории. В самом деле, какие бесчисленные виды рабства создает дурно направленная почтительность! Как хорошо Паркер выразил все это, и как справедлива его речь! Действительно, почет – могущественный двигатель и страшное орудие. Если вам удастся внушить человеку почтение к вашим идеалам, вы поработите его себе. Во все века народам Европы внушали, что они не смеют критиковать позорных деяний властей и знати, не смеют делать им оценки, а должны беспрекословно почитать то и другое. И нельзя

удивляться, если эта рабская почтительность сделалась их второй натурой. Но для того, чтобы они стряхнули с себя это добровольное ослепление, достаточно вселить в их темные умы идею иного, противоположного порядка. Целые века малейшее проявление так называемой непочтительности вменялось им в грех и преступление. Этот позорный предумышленный обман становится очевидным, едва только человек придет к сознанию, что он сам есть единственный законный судья тому, что следует и чего не следует уважать. Странно, я не думал о том до сих пор, но это совершенно верно. Какое право имеет Гёте, или Арнольд, или всякий другой толковать мне по-своему слово «непочтительность»? Их идеалы ровно ничего не значат для меня. Пока я чту свои собственные идеалы, мой долг исполнен, и с моей стороны не будет профанацией, если я смеюсь над их идеалами. Что мне чужие кумиры; я могу пренебрегать ими сколько угодно. Это мое право, моя привилегия. Ни один человек не смеет того отрицать».

Трэси очень хотелось послушать прений по поводу паркеровского реферата, но их не последовало. Председатель собрания сказал по этому поводу в виде объяснения:

— К сведению посторонних лиц, присутствующих здесь, я должен заявить, что, согласно принятому у нас обычаю, предмет настоящего митинга будет обсуждаться на следующем митинге клуба. Такое правило дает возможность членам нашего клуба составить письменный конспект того, что они пожелают сказать по поводу поднятого здесь вопроса, так как мы люди ремесленного труда и не привыкли говорить публичных речей. Мы обязаны изложить на бумаге предмет своей беседы.

Затем было прочитано несколько кратких заявлений, и происходили словесные прения насчет реферата, читанного на предыдущем собрании. Он представлял похвальное слово какого-то заезжего профессора по адресу школьной культуры и проистекающих от нее великих результатов для нации. Одно из письменных заявлений было прочитано человеком средних лет, который сказал, что сам он не получил школьного образования, а научился кое-чему, работая в типографии. Полезные знания, приобретенные здесь, дали ему возможность поступить на службу клерком в комитет, где выдаются патенты и привилегии изобретателям, и здесь он находится уже многие годы.

По этому поводу им было сказано следующее.

— Референт сопоставил нынешнюю Америку с Америкой прежнего времени, причем, конечно, в смысле прогресса контраст получился громадный. Однако мне кажется, что он преувеличил значение школьной

культуры в данном случае. Конечно, нетрудно доказать, что школы много способствовали умственному развитию нации, а, следовательно, сильно повлияли и на процветание страны; но материальный прогресс был несравненно значительнее умственного, в чем, я полагаю, вы будете совершенно согласны со мною. Недавно мне пришлось просматривать список имен изобретателей-творцов этого поразительного материального развития – и я нашел, что они были людьми без школьного образования. Конечно, есть исключения, – как, например, профессор Генри из Принстона, изобретатель телеграфного аппарата системы Морзе, – но они немногочисленны. Не будет преувеличением сказать, что невероятное материальное развитие настоящего столетия, – единственного, в котором стоило жить, с тех пор, как было изобретено само время, – есть дело рук людей без научной подготовки. Нам кажется, будто бы мы ясно видим то, что сделано этими изобретателями; нет, нашему зрению доступен только обширный лицевой фасад воздвигнутого их усилиями здания, но за ним скрывается еще более обширное строение, незаметное невнимательному глазу. Они пересоздали американскую нацию, переделали ее, то есть, выражаясь метафорой, умножили численность американского народа до того, что для ее обозначения уже не хватает цифр. Я объясню свою мысль точнее. Что составляет население страны? Неужели одни исчислимые тюки мяса и костей, называемые из вежливости мужчинами и женщинами? Разве миллион унций меди и миллион унций золота могут цениться одинаково? Станем на более верную точку зрения: пусть будет нам мерилom то, что способен сделать человек для своей эпохи и своего народа, то есть степень приносимой им пользы, и тогда исчислим население Соединенных Штатов в наши дни, умноженное пропорционально тому, насколько современный человек может работать больше своего деда. По этому способу измерения наша нация два и три поколения тому назад состояла из одних калек, паралитиков и никуда не годных людей, по сравнению с теперешними. В 1840 году наше население равнялось 17 000 000. С помощью грубой, но поразительной иллюстрации допустим ради лучшей наглядности, что из них четыре миллиона составляли старики, дети и другие лица, не способные к труду, остаток же в 13 000 000 распределялся, по роду занятий, следующим образом: 2 000 000 рабочих, занимавшихся очисткой хлопка; 6 000 000 (женщин) – вязальщиц чулок; 2 000 000 (женщин) прядильщиц ниток; 500 000 рабочих, изготовлявших винты; 400 000 жнецов, вязальщиков снопов и тому подобное, 1 000 000 молотильщиков; 40 000 ткачей; 1000 швецов башмачных подошв. Теперь выводы из приведенных мною цифр покажутся вам, пожалуй, невероятными, но тем не менее они

совершенно верны. Я добыл их из сборника «Различные документы», № 50, относящегося ко второй сессии 45-го конгресса; значит, эти данные опубликованы официально и заслуживают полного доверия. В настоящее время работа этих 2 000 000 людей, очищавших хлопок, выполняется руками 2000 мужчин; работа 6 000 000 вязальщиц чулок выполняется 3000 мальчиков; с работой 2 000 000 прядильщиц ниток справляется 1000 девочек; работу 500 000 людей, выделявавших винты, исполняют всего 500 девочек; вместо 400 000 жнецов, вязальщиков снопов и тому подобное работает 4000 мальчиков; вместо миллиона молотильщиков работает только 7500 мужчин; вместо 40 000 ткачей исполняют то же количество работы 1200 человек, а труд 1000 швецов башмачных подошв выполняется всего 6-ю людьми. Следовательно, 17 000 человек в настоящее время исполняют работу, которая требовала, пятьдесят лет назад, труда 13 000 000 работников. После этого сообразите, какое число представителей той невежественной расы, к которой принадлежали наши отцы и деды, при их невежественных методах, потребовалось бы теперь для исполнения нашей нынешней работы? На это нужно сорок тысяч миллионов – в сто раз более кишашего населения земного шара. Вы оглядываетесь вокруг себя и видите как будто шестидесятимиллионную нацию; на самом же деле в ее мозгу и рабочих руках гнездится, невидимое для нашего глаза, истинное население американской республики, достигающее страшной цифры в сорок миллиардов! И все это – поразительное творение тех скромных, неученых, не получивших школьного образования изобретателей – честь и слава их имени.

– Ах, как все грандиозно! – говорил себе Трэси, возвращаясь домой. – Какая изумительная цивилизация, какие ошеломляющие результаты! И это чудо создано преимущественно совсем простыми людьми, не аристократами, учившимися в Оксфорде, а тружениками, которые стоят плечом к плечу в низших слоях общества и существуют трудами рук своих. Опять-таки скажу: я доволен, что приехал сюда. Наконец-то мне посчастливилось найти страну, где всякий может начать с небольшого и, подвигаясь вперед в рядах товарищей, возвыситься своими собственными усилиями, занять почетное место в мире, сделаться чем-нибудь и гордиться своим личным успехом. Это гораздо лучше, чем быть обязанным своим положением предку, отличившемуся триста лет назад.

ГЛАВА XI

В продолжение нескольких дней молодой человек восторженно носился с мыслью, что он попал в страну, где хватит на всех «работы и хлеба». Он даже сложил на эту тему нечто вроде хвалебного гимна, который и повторял про себя в чаду упоения. Однако время шло, дела принимали сомнительный оборот, и вскоре пламенный дифирамб оборвался на полуслове и бессильно замер у него на губах. Сначала виконт хлопотал о получении какой-нибудь приличной должности в одном из государственных ведомств, где могло пригодиться высшее образование, полученное им в Оксфорде. Однако ему не повезло. Научную подготовку здесь ни во что не ставили, тогда как политическая окраска ценилась в шесть раз более всякой компетентности. Он смотрелся истинным англичанином, и это вредило ему в центре политической жизни, где обе партии для вида стояли за Ирландию, что не мешало им втихомолку поносить ее на чем свет стоит. По костюму Берклей считался ковбоем, что внушало наружное почтение к его особе, – пока он не поворачивался к людям спиной, – но, разумеется, не могло способствовать получению хорошего места. Между тем однажды, в необдуманном порыве, он дал себе слово носить это платье до тех пор, пока оно не бросится в глаза где-нибудь на улице его владельцу или знакомым этого человека, что дало бы ему возможность возратить по принадлежности чужие деньги. И теперь совесть не позволяла виконту нарушить принятого обязательства.

К концу недели дела пошли еще хуже. Он всюду искал занятий, постепенно спускаясь все ниже в своих требованиях, пока не перебрал, кажется, всех видов труда, за который может взяться человек без специальной подготовки, исключая рытья канав и другой черной работы. Однако ему не только не дали места, но даже и не обещали ничего. Однажды Берклей, машинально перелистывая свой дневник, напал на первую заметку, внесенную им на эти страницы сейчас после пожара: «Сам я никогда не сомневался прежде в своей стойкости; теперь же никто не имеет права сомневаться в ней более. Стоит взглянуть на мою здешнюю обстановку, чтобы убедиться в этом. А между тем я ничем не брезгаю и доволен своим помещением, как собака теплой конурой. Плата – двадцать пять долларов в неделю. Я сказал, что начну с самой низшей ступеньки, и сдержал свое слово». Когда виконт перечитал эти строки, его даже кинуло в дрожь.

– Где у меня была голова? – воскликнул он. – И это я называл «начать с низшей ступеньки!» Проболтался без дела целую неделю, а расходы все росли. Нет, надо положить предел такой расточительности.

И он отправился отыскивать менее роскошную квартиру. Долго пришлось ему искать чего-нибудь подходящего; молодой человек сбился с ног, но, наконец, труды его увенчались успехом. С него спросили деньги вперед – четыре с половиной доллара в неделю с постелью и столом. Пожилая хозяйка, с добродушным лицом и видом женщины, много потрудившейся на своем веку, проводила нового постояльца по узкой лестнице без ковра на третий этаж, где была его комната. В ней стояло две двуспальные кровати и одна односпальная. Ему позволили пользоваться без приплаты одной из них, пока не явится новый жилец.

Итак, Берклею предстояло спать в одной постели с чужим человеком! Одна мысль о том приводила его в ужас. Миссис Марш, хозяйка, была очень обходительная особа и выразила надежду, что жильцу понравится у нее в доме. Здесь все были довольны своим помещением, по ее словам.

– И жильцы у меня все такие славные ребята, – продолжала она. – Правда, беспокойны немножко, но шумят между собою только из баловства. Эта комната, как видите, выходит в другую, заднюю, и постояльцы располагаются в обеих, как им угодно, а в жаркие ночи спят на крыше, когда нет дождя. Они сейчас забираются туда, если им станет душно. В нынешнем году весна наступила рано, так что мои жильцы спали уже раза два на открытом воздухе. Если вам вздумается сделать то же самое, можете выбрать себе любое местечко на крыше. Вы найдете мел сбоку камина, где не хватает кирпича. Стоит обвести мелом небольшое пространство, нужное вам... Впрочем, что же это я вас учу? Вероятно, вы уже дельвали это не раз?

– Нет, мне никогда не случалось...

– Ну, конечно! Я говорю глупости. У вас на равнинах простора достаточно. Итак, вы можете отмежевать себе уголок на железной крыше, где окажется свободное местечко, еще не занятое другими, и сделаться его хозяином. Товарищ, с которым вы будете спать на одной постели, поможет вам вынести наверх одеяло и подушки, а потом, поутру, снести их обратно. Или вы оба станете заниматься этим по очереди. Один вынесет, другой внесет. Это уж как вы сговоритесь между собой. А я знаю, что вы сойдетесь с нашими ребятами; они все такие общительные, исключая наборщика. Он, единственный из всех, непременно хочет спать на отдельной кровати. Удивительный чудак; вы не поверите – этот малый ни за что не ляжет с кем-нибудь другим, хотя бы в доме случился пожар.

Однажды соседи сыграли с ним такую шутку. Все они улеглись по своим постелям в один прекрасный вечер, и когда наборщик вернулся домой в три часа ночи – в то время он работал в утренней газете, а теперь получил место в вечерней, – то нашел свободное место только на кровати литейщика. И что же бы вы думали? Он просидел на стуле до утра, даю вам честное слово! Толкуют, будто он немного тронулся, но это неправда; бедняга, видите ли, англичанин, а все они престранные. Впрочем, прошу извинения. Вы... вы, кажется, сами англичанин?

– Да.

– Я так и думала. Сейчас можно догадаться, что вы не здешний, по вашему разговору. Слова с буквой «а» вы произносите совсем наыворот; однако это у вас скоро пройдет. Так вот я говорю, что наборщик отличный малый; он немного сошелся с учеником из фотографии, с кузнецом, который ходит работать в адмиралтейство, да еще тут с одним парнем, но других постояльцев наш нелюдим не жалует. Дело в том, – надеюсь, мои слова останутся между нами, остальные жильцы не знают про это, – дело в том, что он в некотором роде аристократ; отец у него доктор, а известно, какую роль играют доктора у вас в Англии, хотя здесь они не считаются важными птицами. Но за морем, конечно, все иначе. Так вот этот малый повздорил с отцом, после чего ему пришлось очень жутко у себя на родине; он взял да и махнул в Америку, а тут, разумеется, надо было работать, чтобы не умереть с голоду. Дома он получил образование и думал, что сейчас пристроится здесь на место... Вы, кажется, что-то сказали?

– Нет, я только вздохнул.

– Однако бедный юноша сильно ошибся. Натерпелся он довольно голоду и пропал бы ни за грош, да, спасибо, один наборщик или кто-то другой сжалился над ним и пристроил его учеником в типографию. Обучился он ремеслу, и все пошло на лад, только не по душе ему это занятие. Прежде задира нос, не хотел покориться родному отцу, а тут привелось сердечному... Да что такое с вами?.. Неужели моя болтовня...

– Напротив – продолжайте. Я с удовольствием слушаю вас.

– Так вот он уже целых десять лет в Америке, – теперь ему двадцать девятый год, – а все не может свыкнуться. Не нравится ему, что он простой ремесленник и окружен ремесленниками, тогда как дома бедняга был джентльменом. Это он высказал мне однажды с глазу на глаз, и, конечно, из его слов я поняла, что остальных здешних ребят он считает ниже себя. Разумеется, пожив довольно на свете, я не так глупа, чтобы выбалтывать подобные вещи.

– Но почему же? Что в том обидного?

– Да, попробуйте-ка! Ведь ему тогда проходу не будет, всякий станет его донимать. Вот хоть бы взять вас, к примеру. Неужели вы позволите сказать себе в нашей стране, что вы не джентльмен? Впрочем, что я говорю? Всякий призадумается прежде, чем скажет ковбою такую дерзость.

В эту минуту в комнату вошла нарядная, стройная, подвижная и очень хорошенькая девушка лет восемнадцати, с самодовольным и развязным видом. На ней было дешевенькое, но очень кокетливое платьице. Берклей поднялся с места, а хозяйка бросила на него беглый взгляд, надеясь прочесть в чертах виконта удивление и восторг.

– Вот моя дочь Гэтти. Мы зовем ее Киской. Это наш новый постоялец, Кисанька. – Почтенная матрона не подумала встать, представляя друг другу молодых людей.

Наш английский лорд вежливо поклонился с оттенком смущения, не зная хорошенько, как ему держаться относительно этой горничной или наследницы меблированного отеля для ремесленников. Застигнутый врасплох, он бессознательно вернулся к привычкам аристократического воспитания, забыв на время свои излюбленные теории всеобщего равенства, которые в данную минуту скорее вывели бы его из не совсем приятного затруднения. Между тем красotka Гэтти не заметила его церемонного поклона; с наивной искренностью протянула она ему свою руку и сказала:

– Как поживаете?

Потом молодая девушка подошла к единственному ручомойнику в комнате, повертела то в ту, то в другую сторону своей головкой перед висевшим над ним обломком зеркала, поклонила пальцы, поправила ими завиток волос на лбу и занялась уборкой спальни.

– Ну, мне пора идти; время подвигается к ужину, – сказала мать. – Не стесняйтесь, пожалуйста; будьте как дома, мистер Трэси. Когда все будет готово, вы услышите звонок к столу.

С этими словами хозяйка невозмутимо направилась к дверям, оставив молодежь наедине. Виконт немного удивился такой беспечности почтенной женщины и протянул уже руку за шляпой, собираясь избавить Гэтти от своего присутствия, когда та сказала ему:

– Куда вы уходите?

– Никуда, собственно; но ведь я вам мешаю.

– Мешаете? Да с чего вы взяли? Сидите преспокойно, я попрошу вас посторониться, когда будет надо.

Теперь она перестилала постели. Берклей сел и стал следить глазами

за ее проворной, прилежной работой.

– С чего это вам пришло в голову, что вы можете помешать? Неужели мне нужна для уборки вся комната сразу?

– Говоря по правде, я намекал не на то. Но согласитесь, что мы остались с вами здесь вдвоем, в пустом доме, а так как ваша матушка ушла...



Девушка прервала его веселым смехом:

– Значит, я осталась беззащитной? Господь с вами, мне не надо защитников. Я не боюсь. Вот если бы остаться совсем одной, тогда другое дело, потому что я ненавижу привидения, скажу вам откровенно. Не то чтобы я в них верила, нет, но мне страшно.

– Как же вы можете бояться того, во что не верите?

– Ну, уж я там не знаю как; для меня это слишком мудрено разобрать; а только я боюсь, вот и все. То же самое говорит и Мэджи Ли.

– Кто такая Мэджи Ли?

– А это одна из наших жилищ, молодая леди, которая ходит работать в мастерскую.

– Она работает в мастерской?

– Да, в башмачной.

– В башмачной мастерской, а вы называете ее молодой леди?

– Да ведь ей только двадцать два года; как же назвать ее иначе?

– Я думал вовсе не о ее годах, а об этом титуле. Дело в том, что я уехал из Англии, чтобы уйти от искусственных форм общежития, пригодных только искусственному народу, а между тем нахожу, что вы усвоили их себе за океаном. Мне это очень не нравится. Я думал, что у вас здесь просто мужчины и женщины, что в Америке все равны и нет различия между классами общества.

Гэтти остановилась, держа в зубах конец подушки, на которую хотела надеть чистую наволочку. Взглянув на говорившего, она выпустила подушку и сказала:

– Ну, так что же из этого? Здесь и на самом деле все равны. Какое тут различие?

– Но если вы называете работницу из мастерской молодой леди, как же вы назовете супругу президента?

– Старой леди.

– Значит, по-вашему, вся разница только в годах?

– Да тут и не может быть иной, насколько я понимаю.

– Тогда все женщины – леди?

– Конечно, так. По крайней мере, все порядочные.

– Ну, это еще куда ни шло. Разумеется, нет никакой беды в титуле, если он прилагается ко всякому. Он будет оскорблением и злом, составляя только привилегию меньшинства. Однако, мисс... мисс...

– Гэтти.

– Мисс Гэтти, будьте откровенны; сознайтесь, что знатный титул дается не каждому. Богатый американец не назовет, например, свою кухарку «леди»?

– Не назовет. Но что же из этого?

Он был немного озадачен, когда его блестящий аргумент не произвел желаемого эффекта.

– Что же из этого? – повторил Берклей. – А вот что: равенство, очевидно, не допускается в Америке, и американцы не лучше англичан. В самом деле тут нет никакой разницы.

– Ах, вот что пришло мне в голову. Титул сам по себе не важен; важно то, какое значение ему придают, – это вы сами сейчас сказали. Представим себе, что вместо слова «леди» употреблялось бы слово «чистый». Вам это понятно?

– Кажется, так. Вместо того, чтобы называть женщину «леди», к ней применялось бы слово «чистый» и говорилось, что она «чистая особа».

– Совершенно верно. А разве в Англии господа не называют рабочих

людей джентльменами и леди?

– Конечно, нет.

– И люди рабочие не величают себя таким образом?

– Никогда.

– Значит, если вы употребите другое слово, от этого ничего не изменится? Господа по-прежнему не станут называть «чистыми» никого, кроме себя, а простолюдины покорятся их капризу и не позволят себе пользоваться званием «чистого человека». У нас же выходит совсем иначе. Всякий мужчина величает себя джентльменом, а женщина леди, и они уверены, что достойны этого звания, а до мнения других им нет дела, пока оно не высказывается вслух. И вы полагаете, что тут не видно никакого различия? Но вы принижаете людей, а мы нет. Разве это одно и то же?

– Ваша правда. Я не подумал о том, но теперь согласен с вами. Однако, величать себя леди еще не значит... хм... не значит...

– На вашем месте я не стал бы договаривать.

Говард Трэси повернул голову, желая узнать, кто так бесцеремонно вмешался в его разговор. Это был человек невысокого роста, лет сорока, с волосами песочного цвета, безбородый, с живым и умным выражением на приятном веснушчатом лице. Его довольно потертое, но опрятное платье, очевидно, было куплено на рынке. Пришел он из комнаты, выходявшей окнами на улицу и отделенной от спальни прихожей, где этот господин оставил свою шляпу. В руках у него был потрескавшийся облупленный белый рукомойник. Гэтти подошла к нему и взяла кувшин.

– Я сейчас принесу вам, а вы ответьте за меня, мистер Барроу. Это наш новый постоялец, мистер Трэси. Мы с ним заспорили, и я не сумела бы выпутаться, если бы вы не подоспели на выручку.

– Спасибо, Гэтти. В моей комнате нечем было умыться, и я зашел сюда за водой. – Он развязно присел на старый сундук и сказал:

– Я услышал ваш спор и заинтересовался им. Повторяю: на вашем месте я не стал бы договаривать. Чем должна закончиться ваша фраза? «Называть себя леди еще не значит принадлежать к разряду избранных». Вот к чему клонит ваша речь. Но ведь это абсурд. Кто имеет право делать подобное разграничение между людьми, позвольте вас спросить? Каких-нибудь двадцать тысяч человек из миллиона захотели считаться избранными и стали величать себя джентльменами и леди, остальные же девятьсот восемьдесят тысяч согласились с тем и проглотили нанесенное им оскорбление. А если бы они восстали против такого решения, то каста избранных прекратила бы свое существование и знатность рода сделалась бы мертвой буквой без смысла и значения. У нас здесь было то же самое.

Люди, достигшие высокого положения, стали в разряд избранных и присвоили себе исключительное звание джентльменов и леди. Однако что же из этого вышло? Остальные тоже признали себя джентльменами и леди; короче – вся наша нация возвысила себя до благородства. А если целые миллионы считаются господами, тогда преимущество происхождения падает само собою. Это создает абсолютное, а не фиктивное равенство, точно так, как абсолютно и реально у вас неравенство (созданное бесконечно слабым меньшинством и признанное бесконечно сильной массой народа).

Трэси моментально почувствовал себя англичанином с головы до ног в самом начале этой речи, несмотря на суровую школу, пройденную им в продолжение нескольких недель в обществе необразованных людей с их простыми формами общежития. Он, как улитка, ушел в свою раковину, но под конец переломил себя и простил непрошенное вмешательство этого простого откровенного человека в его беседу. И это было нетрудно, потому что и голос, и улыбка, и обращение мистера Барроу невольно располагали к нему, обладая в то же время неотразимой силой убеждения. Он даже сразу понравился бы Трэси, если бы не аристократические предрассудки, вошедшие у него в плоть и кровь. Сам того не подозревая, молодой человек, в сущности, признавал равенство только в теории. С чем соглашался ум, против того восставала натура. Это было то же привидение Гэтти, только наыворот. По теории, Барроу был равен Берклею, однако напирать на это обстоятельство было как будто бестактностью со стороны первого. И Берклей возразил:

– Охотно верю тому, что вы сказали относительно американцев, но мне не раз закрадывались в душу сомнения. Невольно кажется, что равенство не более как пустой звук в стране, где в таком ходу кастовые клички; впрочем, они, конечно, потеряли свой обидный смысл и совершенно нейтрализовались, они сведены к нулю, сделались вполне невинными, если их обратили в неотъемлемое достояние каждого индивидуума вашей нации. Теперь, пожалуй, мне понятно, что каста не существует и не может существовать иначе, как по взаимному соглашению масс, стоящих вне ее. Прежде я полагал, что каста создала и увековечила себя сама, но выходит, кажется, так, что она только создалась по своему произволу, а уж поддерживали ее люди, которых она презирает, хотя они могут во всякое время уничтожить ее, просто упразднив самые титулы, присвоенные знати.

– Да, вы верно поняли мою мысль. Нет власти на земле, которая помешала бы тридцатимиллионному английскому населению завтра же самовольно возвести себя в герцогское достоинство и приняться величать

себя герцогами и герцогинями. И тогда, через каких-нибудь полгода, настоящие герцоги и герцогини сложили бы с себя свое высокое звание. Почему бы им и не попробовать, в самом деле? Да что я говорю? Даже королевский сан не выдержал бы такого посягательства. Горсть людей, хмурых брови на тридцать миллионов, которые поднимают их на смех с неодолимой силой действующего вулкана. Да это Геркуланум в борьбе с Везувием! И после такого катаклизма понадобились бы другие восемнадцать столетий, чтобы отрыть этот Геркуланум. Что значит звание полковника на нашем Юге? Ничего; там все полковники. Нет, Трэси (Трэси покорило), никто в Англии не назовет вас джентльменом, и вы сами не назовете себя таким образом. Да, такой порядок вещей ставит порою человека в самое неудобное положение – я подразумеваю здесь широкое и всеобщее признание кастовых отличий и подчинение им. Скажите, может ли польстить Маттергорну внимание одного из ваших красивеньких английских холмов?

– Разумеется, нет.

– Ну, пусть здравомыслящий человек представит себе, что Дарвину может быть приятно одобрение какой-нибудь принцессы. Такое предположение до того нелепо, что... парализует силу воображения, хотя этот колосс Мемнона и был, в действительности, польщен вниманием маленькой статуэтки; по крайней мере, он сам сознавался в своем малодушии. Система, способная заставить само божество отказаться от божественного достоинства и профанировать его, никуда не годится, решительно никуда, и должна быть уничтожена, говорю я.

Напоминание о Дарвине привело новых знакомых к литературному спору, и этот предмет так сильно разгорячил Барроу, что он снял сюртук и расположился в комнате совсем без церемоний. Они проговорили до самого возвращения шумной ватаги жильцов, которые с громким говором и стуком вбежали по лестнице и наводнили спальню, где тотчас пошел дым коромыслом: кто свистел, кто пел, кто полоскался у рукомойника, кто дурачился и спорил. Барроу, хотевший сначала немедленно пригласить Трэси к себе в гости и предоставить ему пользоваться своей маленькой библиотекой, несколько медлил, однако, с этой любезностью. Он счел более благоразумным предварительно предложить молодому англичанину несколько вопросов, касавшихся его личности:

– Чем вы занимаетесь?

– Здесь... здесь меня принимают за ковбоя, но я вовсе не ковбой; это недоразумение. Я, собственно, не имею определенного рода занятий.

– Но чем же вы зарабатываете свой хлеб?

– Да чем угодно. То есть я хочу сказать, что готов взяться за всякую работу, какую бы мне ни предложили, но ее-то у меня и нет.

– Пожалуй, я могу оказать вам содействие. По крайней мере, постараюсь.

– О, я был бы так доволен. Но до сих пор все мои хлопоты пропадали даром, и я совсем не знаю, за что взяться.

– Конечно, в Америке трудно пробить себе дорогу, не имея специальной подготовки. По-моему, вам бы следовало поменьше заниматься книжками да побольше думать о практической стороне жизни. Удивляюсь беспечности вашего отца. Как же это он не позаботился приучить вас к настоящему делу? Вам непременно следовало избрать себе то или другое ремесло. Не горюйте, однако; уж мы отыщем что-нибудь общими силами. Только не вздумайте удариться в тоску по дому; тогда вы пропащий человек. Впрочем, мы еще переговорим с вами обо всем поосновательнее и оглядимся хорошенько. Не надо падать духом; из всякого положения можно найти выход. А теперь подождите меня здесь немножко. Мы вместе сойдем к ужину.

В настоящую минуту Трэси питал уже искреннее расположение к Барроу. Он, пожалуй, назвал бы его даже своим другом, если бы не остаток неприязненного чувства, которое было вызвано в нем бесцеремонностью этого человека, заставшего его врасплох в пылу применения на практике либеральных теорий. Однако общество нового знакомого все-таки нравилось ему, и у Трэси даже отлегло немного от сердца после интересной беседы. Кроме того, он ужасно желал узнать, каким ремеслом занимается Барроу, что находит досуг читать и учиться.

ГЛАВА XII

Зазвонили к ужину. Звонок, раздавшийся внизу, становился все громче, по мере того как человек с колокольчиком поднимался с одного этажа на другой. Наконец эти звуки достигли нестерпимой резкости, раздавшись над самым ухом Трэси, но тут же были заглушены страшным топотом ног по каменным ступеням ничем не заставленной лестницы. Это квартиранты мчались вниз, точно табун ошалевших коней. Английские пэры уж, конечно, не позволили бы себе броситься таким образом, сломя голову, к столу, и Трэси по своему воспитанию не мог разделять животного восторга своих теперешних сожителей. Разумеется, он понимал, что все это простительно в их положении, что рабочему народу надо же встряхнуться после многих часов каторжного труда, но все-таки его невольно корбила их грубость. Впоследствии, конечно, он свыкнется со всем, однако резкость и неожиданность новых впечатлений заставляла его страдать. Он спускался вместе с Барроу более медленным шагом по лестнице, и тут его охватил смешанный запах промозглой капусты, кухонного чада и тому подобных прелестей – специфический букет всех дешевых кухмистерских, который еще долго преследует вас после того, как вы перестанете его ощущать. Трэси задыхался, его нестерпимо тошнило от этого аромата, но он сдерживался и не сказал ни слова. Спустившись в нижний этаж, двое новых приятелей вошли в обширную столовую, где уже сидело за столом от тридцати пяти до сорока человек квартирантов. Они также заняли места. Ужин уже начался, и между присутствующими шли громкие разговоры с одного конца стола до другого. Скатерть была из грубого материала и в изобилии усеяна жировыми и кофейными пятнами. Железные ножи и вилки с костяными черенками, ложки из накладного серебра или из никеля дополняли сервировку. Чашки для чая и кофе были из простой, грубой глины, но имели то преимущество в глазах хозяйки, что не отличались хрупкостью. Вообще вся посуда на столе была самая простая и дешевая. Возле каждого прибора лежал большой, тонко отрезанный ломоть хлеба; жильцы ели его очень экономно, вероятно, зная по опыту, что здесь не принято удваивать положенных порций. Кое-где по столу были расставлены масленки с маслом, до которых могли дотянуться те, у кого имелись длинные руки, но каждому из нахлебников не полагалось по отдельному блюдечку, как это делается в других местах. Масло было, пожалуй, хорошо, если бы не пахло чем-то, хотя, по-видимому, никто не

обращал внимания на его недоброкачество, и оно истреблялось с большим аппетитом. Основой ужина служило горячее блюдо, какое-то ирландское рагу из обрезков говядины и картофеля, оставшихся от прежних обедов. Этого кушанья давалось всем вдоволь. Кроме того, на столе стояло два громадных блюда с нарезанной холодной бараниной и другие менее питательные закуски – соленья, нью-орлеанская патока и тому подобные вещи. Подавался также в изобилии сквернейший чай и кофе с неочищенным сахарным песком коричневого цвета и сгущенным молоком; однако потребление последних продуктов не было предоставлено на усмотрение нахлебников; они распределялись порциями на конце стола: одна ложка сахара и ложка молока на каждую чашку, никак не более. За столом присутствовали две дюжих негритянки; они кидались туда и сюда сломя голову и меняли посуду с вечным стуком и грохотом. Согласно обычаю, им помогала в работе молоденькая Гэтти. Она подавала квартирантам чай и кофе, но, строго говоря, вертелась между ними скорее для собственного удовольствия, чем ради пользы. Девушка дурачилась с постояльцами, выкидывала разные штуки и шутила – очень остроумно, по ее мнению, да и по мнению других, судя по одобрительным возгласам и смеху, вызываемым ее словечками. Она была явной любимицей большинства молодых людей и тайной зазнобушкой остальных. По крайней мере, при ее приближении все лица прояснялись, тогда как невнимание своенравной Киски наводило на некоторых заметную тень досады. Она никогда не прибавляла к имени своих друзей слово: «мистер», называя их без церемонии «Билли», «Том», «Джон»; они же, со своей стороны, звали ее просто Гэтти или Киской.

Мистер Марш восседал на почетном конце стола, а его жена напротив. Хозяину было лет шестьдесят. Родился он в Америке, но в его жилах текла испанская кровь. Смуглый, с черными, как вороново крыло, волосами, он действительно резко отличался от остальных, а его необыкновенно темные глаза могли порою загораться и метать молнии. Судя по наружности, он представлял резкий контраст с женою, женщиной мягкой, добродушной и покладистой. Хозяйку, очевидно, любили все квартиранты; по крайней мере, и мужчины, и женщины звали ее в глаза тетушкой Рэгель. Трэси с любопытством осматривался кругом, среди незнакомой обстановки, и его взгляд упал на одного из нахлебников, которого обошли во время раздачи ирландского рагу. Он был очень бледен, точно недавно оправился от болезни, и, пожалуй, мог опять слечь в постель при малейшем толчке. Бедняга выглядел унылым и грустным, как человек, подавленный обстоятельствами. Общий веселый говор и смех отскакивали от него, как

волны от немого утеса. Он сидел потупившись, сконфуженный и несчастный. Некоторые из присутствующих женщин бросали на него украдкой сострадательные взгляды; то же самое чувство жалости к товарищу читалось и на лицах более юных из мужчин, однако никто не решался прийти к нему на выручку, чтобы выказать на деле свое сочувствие. Зато большинство сидевших за столом относилось с полным равнодушием к одинокому больному с его печалью. Марш сидел также потупившись, но можно было заметить, как лукаво блестят его глаза из-под нависших бровей. Он наблюдал за болезненным юношей с очевидным злорадством. Беднягу обнесли кушаньем не по ошибке, и, по-видимому, присутствующие понимали это. Было заметно, что хозяйка сидит на месте сама не своя. У нее был вид человека, надеющегося, что вот сейчас произойдет неожиданное чудо. Но так как невозможное не думало совершиться, она осмелилась, наконец, заговорить с мужем и напомнить ему, что Нэту Брэди не подали ирландского рагу. Марш поднял голову и взглянул на постояльца с иронической любезностью.

— Как, неужели его обнесли? Как жаль! Не понимаю, каким это образом я не доглядел. Ах, пусть он извинит меня. Извините, пожалуйста, мистер Бакстер... Баркер... право, извините. Верно, я думал о чем-нибудь другом; ума не приложу, как это вышло. Но я крайне озабочен одним обстоятельством, отсюда и моя рассеянность. Впрочем, не обращайтесь внимания на такие пустяки, мистер Бенкер, на эту маленькую оплошность с моей стороны. Так со мной всегда бывает в тех случаях, когда кто-нибудь... хм... кто-нибудь не платит мне за свое содержание по три недели. Вы понимаете, что я хочу сказать? Надеюсь, я выразился довольно ясно? Вот ваша порция рагу. Наслаждайтесь моим благодеянием настолько же, насколько наслаждаюсь я, оказывая его вам.

Яркий румянец вспыхнул на бледных щеках обиженного, разлился до ушей и залил лоб до самых корней волос. Однако юноша ничего не сказал и принялся за еду среди всеобщего неловкого молчания.

Он чувствовал, что все глаза устремлены на него. Барроу тем временем шепнул Трэси:

— Старику только этого и было нужно. Он ни за что не пропустил бы такого удобного случая придраться к человеку.

— Какая грубость, — заметил Трэси и подумал про себя, собираясь занести эти мысли в свой дневник:

«В том доме, где я теперь поселился, оказалась республика в миниатюре: здесь все равны и свободны, насколько свобода и равенство мыслимы на земле. И я решил остаться тут, надеясь быть равным между

равными, заурядным человеком между такими же людьми, а между тем на самом пороге меня уже встретило неравенство. За нашей общей трапезой я вижу людей, которым, по той или другой причине, оказывают особое внимание, и вижу бедняка, отверженного всеми. Одни смотрели на него с презрением, другие с ледяным равнодушием. Он переносит жестокие обиды, хотя все его преступление заключается в бедности. Равенство должно бы, кажется, развивать в людях более душевного благородства. По крайней мере, я так понимал».

После ужина Барроу предложил прогуляться, и они пошли. Новый знакомый Трэси имел при этом в виду практическую цель и стал уговаривать приятеля переменить шляпу ковбоя на другую, более обыденную. По его словам, человеку, наряженному таким шутовским образом, ни за что не пристроиться ни к какому делу, будь то ремесло или умственная работа.

– Насколько я вижу, вы не ковбой по профессии, – заметил он.

– Конечно, нет.

– Тогда, простите мое любопытство, зачем же вы носите эту шляпу? Откуда она к вам попала?

Трэси затруднился с ответом, но наконец сказал:

– Не входя в подробности, могу сообщить вам, что я обменялся платьем с незнакомцем. Это случилось в одну критическую минуту, и я желал бы найти его, чтобы произвести обратный обмен.

– Так почему бы вам не отправиться к нему? Где он живет?

– Не знаю. Я полагал, что скорее найду его, если стану носить принадлежащий ему костюм. Он всем бросается в глаза своей оригинальностью и, конечно, привлек бы внимание самого владельца, если бы мы встретились случайно на улице.

– Отлично, – отвечал Барроу, – остальной частью вашего туалета вы можете пользоваться – она выглядит довольно сносно: не слишком подозрительно и не совсем обыкновенно. Но шляпу вы бросьте. Когда вы встретите незнакомца, он и без нее узнает свое платье. В центре цивилизации, подобном Вашингтону, такая шляпа решительно не годится. Даже ангелу в подобном ореоле не получить в нашем городе работу.

Трэси согласился обменять свою широкополую шляпу на другую, более скромного фасона, и они вскочили на подножку переполненной конки, где им пришлось за недостатком места стоять на задней платформе. Двое мужчин, переходя через улицу, увидели сзади фигуры Барроу и Трэси и тотчас крикнули в один голос: «Вот он!» То были Селлерс с Гаукинсом. Внезапная радость до того парализовала их энергию, что они не успели

броситься вперед и остановить конку. Когда приятели опомнились, она была уже далеко. Они решили подождать другой и постояли некоторое время на разъезде. Между тем Вашингтон нашел, что конку на конке не догонишь, и предложил взять экипаж. Но полковник сказал:

– Нет, оставим эту затею. Уж если мне удалось материализовать однорукого Пита, то я сумею заставить его слушаться. Вот увидишь, он сам явится к нам в дом ко времени нашего возвращения.

И они бросились домой, от радости не слыша под собою ног.

Переменив шляпу, новые приятели решили не спеша пройти пешком до своего отеля. Барроу мучило любопытство, и он опять задал своему спутнику вопрос:

– Так вы никогда не бывали в Скалистых горах?

– Никогда.

– И на развалинах?

– Тоже.

– Как давно в Америке?

– Всего несколько дней.

Тут Барроу подумал про себя: «Ведь этикие дикие фантазии приходят в голову романтикам! Читал человек, сидя у себя в Англии, про ковбоев и их приключения на равнинах. Приехал сюда, купил костюм ковбоя и воображает, что может выдавать себя перед людьми за степного удалца при всей своей неопытности. Теперь же, пойманный врасплох, он стыдится своего маскарада и придумывает отговорки. История с обмененным случайно платьем – чистое вранье. Но его хитрости шиты белыми нитками. Бедняга слишком молод, нигде не бывал, не знает света и, вероятно, ужасно сентиментален. Может быть, он не находит ничего особенного в своем переодевании, но, как бы то ни было, это престранный выбор, курьезная блажь!»

Оба спутника некоторое время шли, погруженные каждый в свои мысли. Наконец Трэси вымолвил со вздохом:

– Знаете, мистер Барроу, история с тем молодым человеком сильно подействовала на меня.

– Вы говорите про Нэта Брэди?

– Да, Брэди или Бакстера; я не знаю, как его зовут. Старик хозяин надавал ему разных фамилий.

– Еще бы: он не знает, чем донять малого, с тех пор, как тот перестал быть аккуратным плательщиком. Давать ему разные фамилии, по мнению Марша, верх остроумия, а он считает себя остряком.

– Скажите же мне, каким образом Брэди попал в беду? Кто он такой?

– Брэди – рудокоп в оловянном руднике. Он жил поденной работой, и дела его шли хорошо, пока бедняга не захворал и не лишился работы. До тех пор все к нему благоволили в нашем доме, и каждому он нравился. Старик выказывал Нэту особое расположение, но ведь вы знаете, что стоит человеку потерять средства к жизни, как на него станут смотреть совсем иначе.

– Неужели, неужели это так?

Барроу с изумлением воззрился на Трэси:

– Ну, да, конечно. Будто вы не знаете? Разве вам не случалось слышать, что на раненого оленя всегда нападают его товарищи и друзья, чтобы покончить с ним поскорее?

Холод пробежал по телу Трэси, и он подумал про себя: «В республике – оленьей и людской, – где все свободны и равны, несчастье вменяется в преступление и счастливцы загрызают до смерти несчастного». Потом он сказал вслух:

– Значит, в нашем отеле, чтобы иметь друзей и заслужить расположение, вместо всеобщей холодности, надо, чтобы ваши дела процветали?

– Разумеется, – отвечал Барроу. – Уж такова натура людей подобного сорта. Они вооружены теперь против Брэди не потому, что он сделался хуже, чем был в то время, когда его любили; нет, бедный юноша остался таким же, с прежними взглядами, но они-то сами... Одним словом, Брэди в настоящее время у них как бельмо в глазу. Товарищи понимают, что обязаны помочь ему, но они слишком скупы для этого и стыдятся внутренне самих себя; однако вместо того, чтобы осудить собственную бессердечность, осуждают Брэди, потому что он тревожит их совесть. Я говорю, что такова человеческая природа. И всюду повторяется одинаковая история. Наш отель – тот же свет в миниатюре. Везде люди эгоистичны и похожи друг на друга. В благополучии нас любят, и популярность приобретается легко при этом условии, но только повернись колесо фортуны в другую сторону, как вчерашние друзья обратятся в недругов.

Под влиянием этих слов благородные теории и высокие стремления Трэси как-то стушевывались и расплывались. Сомнение закралось ему в душу. Уж хорошо ли он сделал, что оттолкнул от себя свое счастье и развеял его по ветру, чтобы разделить убогое существование своих обездоленных братьев? Однако молодой человек не хотел слушать голоса искушения и давал себе слово неуклонно идти вперед по начертанному пути.

Вот извлечение из его дневника:

«Провел уже несколько дней в этом странном улье. Право, не знаю, что и сказать об окружающих меня людях. У них свои достоинства и добродетели, но с другой стороны, как трудно ужиться с иными из их свойств и привычек! Я не могу приятно проводить с ними время. С той минуты, когда они увидели на мне обыкновенную шляпу, в них произошла резкая перемена. Прежнего почтения к моей особе как не бывало; окружающие сделались ласковы со мною, даже более того: они стали фамильярны, я же не переношу фамильярности и не могу с ней примириться, как ни стараюсь. Впрочем, и не мудрено.

Фамильярность этих людей доходит порою до наглости. Но, верно, так следует, и я со временем привыкну, но, во всяком случае, последний процесс не представляет ничего приятного. Мое заветное желание исполнилось; теперь я просто человек между другими людьми и стою на равной ноге с каким-нибудь Томом, Диком и Гарри, а между тем мое положение не совсем таково, как я ожидал. Мне... мне скучно, я тоскую по дому. Да, я должен признаться, что тоскую на чужбине. И вот еще одно откровенное признание, хотя оно для меня и не легко: чего мне более всего не хватает здесь, так это уважения, почета, которым я пользовался в Англии всю жизнь, и который, по-видимому, составляет для меня насущную потребность. Без роскоши, богатства и аристократического общества еще можно обойтись, несмотря на укоренившуюся привычку, но без уважения – нет, и отсутствие его мне слишком тягостно. Я должен заметить, что уважение и почет оказывают некоторым лицам и здесь, только на мою долю они не достаются. Ими пользуются у нас двое людей. Один из них – осанистый мужчина средних лет, бывший паяльщик. Каждый из здешних жильцов заискивает перед ним. Он страшно важничает, хвастается, выказывает самое забавное самодовольство; его речь груба и неправильна; но за нашим столом этого невежду слушают, как оракула, и когда он раскрывает рот, даже собака не смеет тявкнуть в своей конуре. Другая личность, заслуживающая всеобщее почтение, – полисмен, стоящий на дежурстве у здания Капитолия. Это представитель правительства. И почет, оказываемый им обоим, немногим уступает тому, каким пользуется английский граф; вся разница только в способе платить дань уважения. Здесь только не так много любезной предупредительности, но почтение одно и то же. Да, и тут процветает раболепие. Можно сказать, что в республике, где все свободны и равны, состояние и положение заменяют знатность».

ГЛАВА XIII

Дни шли за днями, а дела принимали все худший оборот: усердные хлопоты Барроу найти какое-нибудь занятие для Трэси оказывались напрасными. Всюду ему с первых же слов задавали вопрос: «А к какому рабочему союзу вы принадлежите?» Трэси был вынужден отвечать, что не принадлежит ни к одному из них.

– Тогда я не могу вас нанять. Все мои люди разбегутся, если я найму «отщепенца», «перебежчика», как они величают работников, подобных вам.

Наконец Трэси пришла счастливая мысль. «Мне надо приписаться к какому-нибудь рабочему союзу, вот и все», – сказал он однажды.

– Попробуйте, – отвечал Барроу. – Это было бы отлично для вас, если бы удалось.

– Если бы удалось? Да разве тут может встретиться какое-нибудь препятствие?

– Именно. Иногда это бывает очень трудно. Во всяком случае, вам следует попытаться.

И Трэси попытался, но безуспешно. Он получил довольно резкий отказ; ему посоветовали убираться восвояси, вместо того чтоб отнимать у честных людей трудовой кусок хлеба. Молодой человек увидел, что его положение становится отчаянным, и эта мысль пронизала его холодом до мозга костей. «Значит, здесь существует своя аристократия положения и аристократия благополучия, как существуют признанные и отверженные, – думал он про себя, – и я как раз попал в разряд этих отверженных. Следовательно, в Америке ежедневно возникают новые разграничения между людьми. Всевозможные касты растут здесь, как грибы: это ясно, как и то, что я не принадлежу ни к одной из них, исключая касты „отщепенцев“». Он не мог даже улыбнуться над этим маленьким каламбуром, хотя нашел его очень метким. Бедный малый чувствовал себя до того расстроенным и несчастным, что был не в состоянии долее относиться с философской снисходительностью к дурачествам, которые каждый вечер затевались молодежью в верхних комнатах. Прежде его забавляла их бесшабашная веселость после тяжелого дневного труда; теперь же она была ему в тягость, оскорбляла его достоинство и наконец сделалась просто невыносимой. Когда квартиранты возвращались домой в хорошем настроении, они болтали, шумели, возились, точно молодые

котят, распевали песни и ловко перебрасывались подушками, которые летали по всем направлениям в спальне, задевая иногда Трэси. Молодежи очень хотелось подзадорить его и заставить принять участие в их шумной возне. Они прозвали его, «Джонни Буллем» и фамильярно заигрывали с новым товарищем. Сначала он переносил их выходки очень равнодушно, но потом стал делать вид, что считает такую бесцеремонность неуместной, и скоро заметил большую перемену в обращении своих соседей. Они стали относиться к нему с затаенной враждебностью. Гордый новичок и прежде не был популярен в их среде, но теперь от него стали отворачиваться. Неудачи Трэси в поисках занятий, а также и то обстоятельство, что его не хотели принять ни в один из рабочих союзов, еще более роняли приезжего англичанина в мнении жильцов меблированного отеля. Он получил немало шпилек в своей адрес, и только развитая мускулатура ограждала Трэси от явных оскорблений. Молодежь видела, как он ежедневно упражнялся в гимнастике по утрам после обтирания холодной водой, причем выказывал недюжинную силу. И забияки с изумлением поглядывали на его атлетическое сложение, соображая, что, вероятно, и насчет бокса он не даст маху, а Трэси был безгранично унижен сознанием, что только здоровые кулаки держат от него на благородной дистанции этих грубых неучей. Однажды вечером, войдя в свою комнату, он нашел там человек двенадцать жильцов; компания оживленно разговаривала, заливаясь смехом, похожим на лошадиное ржанье. При его появлении водворилась тишина.

– Добрый вечер, джентльмены, – произнес вошедший, усаживаясь.

Ему не ответили. Он вспыхнул, но не сказал ни слова. Посидев немного среди неловкого молчания, молодой человек встал и вышел. Едва он повернулся к товарищам спиной, как в комнате раздался взрыв оглушительного хохота. Ясно, что его хотели оскорбить. Он вышел на плоскую крышу в надежде освежиться и успокоиться от волнения. Тут ему попался на глаза больной рудокоп. Он сидел один, погруженный в задумчивость. Трэси вступил с ним в беседу. В настоящее время они могли назваться товарищами по несчастью; обоих одинаково преследовали судьба и нерасположение окружающих. Здесь они могли спокойно переговорить с глазу на глаз, чтобы немного отвести душу. Однако за Трэси, очевидно, подсматривали. Не прошло и нескольких минут, как мучители высыпали вслед за ним на кровлю и стали расхаживать взад и вперед, как будто без предвзятого намерения, отпуская только по временам колкие словечки, очевидно, в адрес Трэси, а иногда задевая и рудокопа. Предводителем этой маленькой шайки явился буян и забияка Аллэн, привыкший командовать над жильцами верхнего этажа и уже не раз порывавшийся затеять ссору с

англичанином. Теперь эта компания то мяукала, то посвистывала, то переглядывалась с многозначительным побрякиванием, и наконец завела между собою двусмысленный разговор:

- Из чего составляется пара, как вы думаете, ребята?
- Ну, известно, что двое составляют пару; только иной раз они бывают до того тощи, что выходит из них всего полтора. – Общий взрыв хохота.
- А что такое ты недавно говорил про англичан?
- Ничего особенного. Англичане молодцы, впрочем... я...
- Ну да, что ты про них сказал?
- А то, что они отлично глотают.
- Лучше других людей?
- Никому за ними не угнаться в этом.
- Будто? Что же они лучше всего глотают?
- Оскорбления. – Опять общий хохот.
- Трудно вызвать их на драку, не так ли?
- Нет, не трудно.
- Да неужели?
- Не трудно, а совершенно невозможно. – Снова оглушительное гоготанье.
- Вон этот молодец, кажется, уж совсем бездушный.
- Да он и не может быть другим. Таков уж уродился.
- Как так?
- Будто ты не знаешь тайны его рождения? Его отцом была восковая фигура.

Аллэн направился в ту сторону, где сидели двое отщепенцев, остановился против них и спросил рудокопа:

- Ну, как тебе везет в последнее время насчет друзей?
- Не могу пожаловаться.
- И много ты их приобрел?
- Столько, сколько мне нужно.
- Что ж, это хорошо. Друг иногда становится покровителем. Вот, например, как ты думаешь, что случится, если я сдерну с тебя фуражку и ударю ею по твоей роже?
- Оставьте меня в покое, Аллэн, прошу вас. Ведь я к вам не пристаю?
- Нет, ты, братец, не вилай, а ответ хорошенько на то, о чем тебя спрашивают. Говори, что будет, если я тебя тресну?

Тут за товарища вступился Трэси и хладнокровно заметил:

- Не привязывайтесь к этому малому. Я сам могу вам ответить, что тогда произойдет.

– Вы? Посмотрим! Эй, ребята! Джонни Бульль может сказать, что случится, если я сорву шапку вон с того болвана и смажу его по лицу. Это прелюбопытно.

Он исполнил дерзкую угрозу, но прежде чем успел повторить свой нахальный вопрос, последовало возмездие, и буян лежал врасстыжку перед собравшейся публикой. Поднялся шум, толкотня.

– Круг! Круг! Обведите круг! – кричали все в один голос. – Джонни Бульль хочет показать себя. Вот так будет потеха! Дайте ему случай отличиться.

Тотчас начертили мелом круг на железной обшивке крыши, и Трэси приступил к поединку с такой же готовностью, как если бы его противник был принцем крови, а не простым ремесленником. Внутренне он немного дивился самому себе, так как, несмотря на свой либерализм, все-таки не предвидел, что ему представится случай, подобный сегодняшнему, и его коробило при мысли померяться силами с неотесанным мужланом. В одну минуту все окна и крыши соседних домов были унижены любопытными. Присутствующие расступились, и борьба началась. Однако Аллэн не мог постоять за себя против молодого англичанина. Уступая ему как в силе, так и в ловкости, он то и дело растягивался во всю длину при дружном хохоте зрителей, и едва успевал подняться, как опять грузно шлепался навзничь. Наконец его пришлось поднять, после чего Трэси отказался от своего права проучить грубияна еще раз, и драка была закончена. Друзья увели Аллэна в довольно жалком виде с места состязания; лицо у него было покрыто синяками и окровавлено. Молодежь немедленно обступила Трэси с восторженными поздравлениями, повторяя, что он оказал большую услугу целому дому, так как теперь мистер Аллэн будет помирнее и не станет придирааться ко всем и каждому.

После того Трэси сделался героем и приобрел необыкновенную популярность. Пожалуй, никто еще до него не был так популярен на верхнем этаже. Но если он тяготился неприязнью и враждебностью здешних жильцов, то их бесцеремонное одобрение и похвалы его геройству были ему еще тошнее. Трэси чувствовал себя скверно и даже боялся разбирать причины своего внутреннего недовольства. Он говорил себе, что поступил неприлично, затеяв драку на крыше к вящей потехе всей округи, но, в сущности, его грызло кое-что другое. Однажды он зашел даже чересчур далеко в своем пессимизме и написал у себя в дневнике, что ему приходится тошнее, чем блудному сыну в евангельской притче. Блудный сын только пас свиней, но не был с ними запанибрата. Однако Трэси опомнился, зачеркнул эти слова и сказал: «Все люди равны. Я не хочу

отрекаться от своих принципов. Мои соседи ничуть не хуже меня». Его популярность не ограничилась одним верхним этажом и перешла ниже. Все были благодарны ему за урок, данный Аллэну, который стал теперь тише воды, ниже травы. Молодые девушки, жившие в отеле, – их насчитывалось там с полдюжины, – на всякий манер выказывали свою благосклонность победителю, но больше всех льнула к юному герою общая любимица Гэтти, хозяйская дочка.



– Ах, какой вы всегда милый! – ворковала она. И когда он сказал однажды: «Я рад, что заслужил вашу похвалу, мисс Гэтти» – плутовка прибавила еще нежнее:

– Не величайте меня мисс Гэтти, зовите просто Киской.

Каково! Ему делали авансы. Он решительно достиг вершины почестей; подняться выше этого было уже немыслимо в меблированном отеле миссис Марш. Популярность Трэси достигла своего апогея.

Между тем в присутствии посторонних он еще сохранял наружное спокойствие, но его душу грызло отчаяние. Скоро все деньги выйдут, и тогда чем он будет жить? Молодой человек сожалел, что не позаимствовал более солидной суммы из маленького капитала, найденного в кармане незнакомца. Бедняга лишился сна. Ужасная, убийственная мысль преследовала его днем и ночью, сверлила его мозг: «Что делать? Что со

мной будет?» И в душе Трэси понемногу зашевелилось нечто очень похожее на раскаяние в том, что он вступил в благородные ряды мучеников, а не остался дома, довольствуясь перспективой сделаться со временем английским графом и ничем более, чтобы совершить на земном поприще только то, чего можно ожидать от важного аристократа. Однако он старался всеми силами отогнать эту мысль, что ему и удавалось. Но время от времени она осаждала его опять, грызла, жгла и сжимала ему сердце. Трэси всегда узнавал ее по мучительному чувству, которым она сопровождалась. Другие его мысли были также тяжелы, но эта одна хватала за живое, резала, как ножом. Ночью он только и делал, что прислушивался к несносному храпу своих соседей – честных тружеников, умаявшихся за день после работы; так проходило время до двух – до трех часов утра. Потеряв терпение, Трэси выходил на крышу, где ему удавалось иногда вздремнуть на свежем воздухе, но, большей частью, его и тут преследовала бессонница. Он лишился аппетита, похудел, стал неузнаваем. Наконец, однажды, дойдя почти до полного упадка духа, молодой человек сказал сам себе, – причем невольная краска стыда залила ему лицо, хотя здесь и не было посторонних свидетелей: «Если бы отец знал мое американское имя... собственно говоря, я обязан сообщить ему это сведение. Какое я имею право отравлять старику жизнь? Уж и так мои поступки причиняют семье немало горя. В самом деле, он должен узнать, под каким именем я скрываюсь здесь». И, поразмыслив немного, молодой человек сочинил отцу телеграмму следующего содержания:

«Мое американское имя Говард Трэси».

В этих лаконичных словах будет заключаться известный намек, и отец поймет его, если захочет. Конечно, он догадается, что любящий, почтительный сын пожелал сделать ему удовольствие, открыв свое инкогнито. Минуту спустя, продолжая думать в этом направлении, Трэси невольно воскликнул: «Ах, если бы он телеграфировал мне, чтобы я вернулся! Но нет, я не мог бы исполнить воли отца. Я не должен ему покоряться. Взяв на себя важную миссию, я не смею малодушно отступить. Нет, нет, я не мог бы вернуться домой, да и не захотел бы этого». Затем, после некоторого раздумья, он прибавил: «Но, может быть, сыновний долг и требует моего возвращения при настоящих обстоятельствах; отец мой в таких преклонных летах, и ему было бы приятно найти во мне опору на склоне дней. Надо хорошенько подумать об этом. Конечно, справедливость требует, чтобы я остался здесь. Но все-таки подать весточку о себе отцу тоже не мешает. Ведь не потребует же он меня немедленно к себе! Нет, это было бы жаль; это испортило бы все дело». Он опять задумался: «Ну, а

если бы отец не шутя принялся настаивать?.. Право, я не знаю, что бы я сделал тогда... Родной дом! Ах, как хорошо звучит это слово! И можно ли ставить человеку в вину, если его тянет туда?»

Он отправился на одну из телеграфных станций поблизости, и тут немедленно наткнулся на образец «обычной вашингтонской вежливости», по выражению Барроу. «Здесь, – говорил новый товарищ Трэси, – с вами обращаются в публичных местах, как с бродягой, но если узнают, что вы член конгресса, сейчас картина переменится и вы будете осыпаны любезностями». В телеграфной конторе дежурил юноша лет семнадцати. Когда Трэси вошел, он завязывал себе башмак, поставив ногу на стул и повернувшись спиной к форточке. Телеграфист оглянулся через плечо на вошедшего, смерил его глазами и, как ни в чем не бывало, продолжал свое занятие. Трэси успел написать текст своей телеграммы и ждал минуту, две, три, пока дежурный возился со своим башмаком. Наконец он его окликнул:

– Потрудитесь, пожалуйста, принять от меня телеграмму!

Юноша опять оглянулся через плечо, и его дерзкий взгляд ясно говорил: «Неужели же вы не можете обождать немного?» В конце концов тесемки были завязаны; он взял телеграмму, пробежал ее глазами и с удивлением взглянул на Трэси. В его глазах мелькнуло что-то, граничащее с уважением, пожалуй, даже почтительностью, как показалось посетителю, хотя он так отвык встречать то и другое, что не решался верить своим предположениям.

Мальчик между тем прочел вслух адрес с явным удовольствием на лице и в тоне голоса:

– Графу Росмору! Ишь ты!.. Разве вы его знаете?

– Знаю.

– Ну, а он-то вас знает?

– Конечно.

– И вы полагаете, что он ответит вам?

– Думаю, что да.

– Посмотрим! А куда вам послать ответ?

– Никуда. Я сам зайду за ним. Когда мне зайти?

– Право, не знаю. Лучше я pošлю вам ответную телеграмму на дом. Скажите только, куда. Позвольте ваш адрес, и вы получите ее без замедления, как только она придет.

Но Трэси не принял предложенной услуги. Видя, как почтительно обращается с ним теперь дерзкий телеграфист, он не хотел ронять себя в его глазах, назвав отель ремесленников, где было его пристанище. Молодой человек повторил, что зайдет за телеграммой, и удалился.

Он долго бродил по улицам, занятый своими размышлениями, и говорил сам себе: «Как бы то ни было, но встречать уважение все-таки приятно. Вот я заставил уважать себя забияку Аллена, задав ему здоровую трепку. После того и другие соседи стали смотреть на меня иными глазами, сделались даже почтительны по отношению ко мне за мою личную заслугу – все за то же, что проучил нахала. Но если их уважение мне приятно, то уважение, основанное на незаслуженных прерогативах, которых следовало бы стыдиться, на призрачных правах – оказывается на поверку еще приятнее. Какая, например, заслуга состоять в переписке с графом? А между тем мальчишка-телеграфист проникся за это почтением к моей особе».

Итак, заатлантическая телеграмма летела теперь на родину! Уж одна эта мысль оживляла добровольного изгнанника. Он шел такими легкими шагами, и его сердце ускоренно билось от счастья. Отбросив все колебания, бедняга сознался себе, что он сходит с ума от радости, что он готов отказаться от своей затеи и спешить домой, домой! Его нетерпение получить ответ от старого графа росло с изумительной быстротой. Он прождал целый час, стараясь как-нибудь скоротать время, однако не мог ничем развлечься. Его взгляд безучастно останавливался то на том, то на другом предмете, но мысли блуждали далеко. Трэси опять зашел на телеграфную станцию за ответом.

– Пока еще нет, – отвечал мальчик и, взглянув на часы, прибавил: – Я не думаю, чтобы вы получили его сегодня.

– Почему так?

– Видите ли, теперь уж довольно поздно. На таком дальнем расстоянии вы не можете быть уверены, что то лицо, которому послана телеграмма, окажется дома или будет в состоянии немедленно ответить. За подобные вещи ручаться нельзя. Кроме того, у нас, в Вашингтоне, время приближается к шести часам, а в Англии уже наступила ночь.

– Правда, – согласился Трэси, – мне не пришло этого в голову.

– Да, теперь там поздно: половина одиннадцатого или одиннадцать. По всей вероятности, вы не получите сегодня ответа.

ГЛАВА XIV

Трэси вернулся домой к ужину. Смешение разных запахов в столовой показалось ему еще противнее обыкновенного, и он с наслаждением подумал, что скоро избавится от всей этой гадости. Когда квартиранты поднялись из-за стола, молодой человек не мог бы сказать утвердительно, ел ли он что-нибудь, или нет, но разговоры соседей, во всяком случае, не достигали его слуха. Сердце Трэси все прыгало от восторга, а перед его глазами вставала роскошная жизнь в отцовском замке, пышное убранство, утонченный комфорт... Даже нарядный лакей в плюше огненного цвета, этот ходячий символ постыдного неравенства, рисовался его взору совсем в ином свете; даже от этой фигуры веяло на Берклея чем-то желанным и близким.

– Пройдемтесь со мною, – предложил ему после ужина Барроу. – Мне хочется доставить вам небольшое развлечение.

– Отлично. Куда же мы отправимся?

– В мой клуб.

– Как он называется?

– Ремесленный клуб дебатов.

Трэси слегка вздрогнул. Он не заикнулся о том, что побывал уже там однажды, так как это воспоминание было ему не особенно приятно. Чувства, сладко волновавшие его в то время, постепенно ослабели, стусеивались; прежний энтузиазм несомненно угас, и вторичное посещение ремесленного клуба не обещало молодому человеку никакого удовольствия. Он как будто немного стыдился туда идти. Горячие речи ораторов, конечно, только сильнее дадут ему почувствовать резкую перемену в его образе мыслей. Трэси охотно остался бы дома. Что может он услышать там с трибуны, кроме давно знакомых вещей, которые отзовутся горьким упреком в душе невольного отступника? Лучше всего было бы вежливо извиниться перед Барроу и отклонить его приглашение. Однако он боялся выдать себя этим отказом и пошел, мысленно решив удалиться из собрания как можно раньше, под первым благовидным предлогом.

После того как очередной референт прочел свою заметку, председатель заявил, что теперь будут происходить прения по вопросу, поднятому на предшествующей сходке. Предметом дебатов должна была послужить американская пресса. Это обстоятельство еще более смутило Трэси, потому что вызывало в нем слишком много воспоминаний. Он предпочел бы

послушать о чем-нибудь другом. Но дебаты начались, и ему не оставалось ничего более, как сидеть и слушать.

Во время речей один из ораторов, кузнец Томпкинс, принялся громить монархов и аристократов целого света за их постыдное себялюбие, с которым они стараются удержать свои незаслуженные привилегии. По его словам, ни один сын монарха, ни один лорд или сын лорда не имеют права смотреть прямо в лицо своим ближним. Позор на их головы за то, что они решаются удерживать за собою свои незаконные титулы, свои владения и присвоенные им преимущества в ущерб остальным гражданам; позор тем, кто непременно хочет остаться при бесчестном обладании всеми этими благами, приобретенными в прошедшие века путем грабежей, подлых захватов и насилия над остальными! «Я желал бы, – прибавил Томпкинс, – чтобы здесь, на нашем митинге, присутствовал какой-нибудь лорд или сын лорда. Тогда я вступил бы с ним в беседу и доказал ему, насколько дурно и себялюбиво поступает он, пользуясь своим исключительным положением. Я постарался бы убедить его отказаться от своих прав, чтобы встать в ряды простого народа на равных условиях со всеми, зарабатывать свой насущный хлеб и не придавать значения почету, который оказывают ему ради искусственного положения, а не личных заслуг».



Слушая кузнеца, Трэси как будто слышал собственные беседы со своим другом-радикалом в Англии, точно невидимый шпион-фонограф сохранил эти речи и привез их сюда за океан для его обличения в малодушной измене. Каждое слово, сказанное этим чужим человеком, терзало совесть Трэси, и когда Томпкинс умолк, в его душе не оставалось, что называется, живого места. Глубокое сострадание оратора к порабощенным и угнетенным миллионам европейского населения, выносящего презрение малочисленного класса, который царит на недоступных ему лучезарных высотах, звучало верным отголоском его собственных чувств и мнений. Жалость, прорывавшуюся в тоне голоса, в

горячих словах американца, разделял когда-то он сам и умел так красноречиво выражать ее, затрагивая вопрос об униженной меньшей братии.

По дороге домой оба товарища были задумчивы и молчаливы. Трэси ни за что не прервал бы этого молчания, он стыдился самого себя и мучился угрызениями совести.

«Да, как все это нелепо, как страшно нелепо! – думал он про себя. – И сколько низости, себялюбия, роняющего человеческое достоинство, кроется в стремлении цепляться за все эти незаслуженные почести, за это... О, черт возьми, только презренная тварь...»

– Ну уж, какую чушь порол сегодня дуралей Томпкинс!..

Это внезапное восклицание Барроу обдало деморализованную душу Трэси освежительной волной. То были самые сладостные слова для юного колеблющегося отступника, потому что они смывали с него позор, а это неоценимая услуга, когда мы не находим оправдания перед самым строгим судьей – своей собственной совестью.

– Зайдите ко мне в комнату выкурить трубочку, Трэси.

Трэси ждал этого приглашения и собирался его отклонить, но теперь ужасно ему обрадовался. Неужели речь Томпкинса, приводившую его в такое отчаяние, можно серьезно оспаривать? Он горел нетерпением услышать доводы Барроу против оратора и с этой целью решил вызвать товарища на спор – избитый маневр, который, как известно, в большинстве случаев оказывается удачным.

– Почему же вам не нравится речь Томпкинса, Барроу?

– О, этот пустомеля упустил из виду главный фактор человеческого характера. Он требует от других того, чего не сделает сам.

– Вы полагаете...

– Что тут полагать! Это очень просто. Томпкинс – кузнец, чернорабочий, обременен семьей, работает как вол, из-за куска хлеба. Но представьте себе, что вдруг, по воле капризной судьбы, он делается наследником графского титула и ежегодного дохода в полмиллиона долларов. Что тогда сделает этот краснобай?

– Конечно, откажется от наследства.

– Как бы не так! Он уцепится за него обеими руками.

– Неужели вы думаете, что он способен на это?

– Не думаю, а знаю.

– Почему?

– Да потому, что он малый не дурак.

– Значит, по-вашему, будь он дураком...

– Нет, и тогда он не выпустил бы из рук такой неожиданной благодати. И каждый бы на его месте поступил точно так же. Всякий живой человек. Да и мертвецы не поленились бы встать из могилы, чтобы сделаться графами, даю вам честное слово. Даже я первый не устоял бы против искушения.

Эти слова были целебным бальзамом, отрадой, успокоением для Трэси; они возвращали ему душевный мир.

– А я полагал, что вы против аристократии.

– Против ее наследственных прав, да. Но это ничего не значит. Вот, например, я против миллионеров, однако было бы рискованно предложить мне миллион.

– Вы взяли бы его?

– Даже не поморщившись, со всеми обязательствами и ответственностью, с которыми связано звание капиталиста.

Трэси задумался немного и сказал:

– Я не совсем понимаю вас. Вы говорите, что наследственные права аристократии кажутся вам возмутительными, а между тем, если бы представился случай...

– Я воспользовался бы им? Разумеется! Не медля ни минуты! И ни один из членов нашего ремесленного клуба не отказался бы принять громкий титул с присвоенными ему громадными преимуществами. На всем пространстве Соединенных Штатов не найдется ни одного адвоката, доктора, издателя, автора, мыслителя, праздношатающегося, директора железнодорожной компании, святого, словом, ни единого человеческого существа, которое не поспешило бы воспользоваться счастливой случайностью.

– Исключая меня, – тихо возразил Трэси.

– Исключая вас! – Барроу едва мог выговорить эти слова в порыве насмешливого негодования. Он стал прохаживаться по комнате, не переставая бросать на товарища саркастические взгляды, и все повторял: «Исключая вас!» Он даже обошел вокруг него, посматривая на этого чудака, точно на заморского зверя, и облегчая себя время от времени тем же судорожным восклицанием. Наконец он опять бросился на стул с разочарованной миной и сказал:

– Странный вы человек! Лезете из кожи, чтобы получить какое-нибудь местишко, рады куску хлеба, которого не захочет съесть порядочная собака, а хотите уверить других, что отказались бы от графского наследства, если бы судьба послала вам его. Что вы, дурачить меня, что ли, собрались, Трэси? Прежде, правда, был я парень не промах, а теперь стар становлюсь и не мастер отгадывать загадки.

– Вовсе я не думаю вас дурачить, Барроу, а просто говорю, что если когда-нибудь мне достанется графское наследство...

– На вашем месте я не стал бы и задаваться такими идеями. Кроме того, нетрудно предсказать, что сделали бы вы в таком случае. Ну, например, какая разница между мной и вами?

– Если хотите – никакой.

– Чем вы лучше меня?

– Конечно... разумеется, ничем.

– Кто же из нас, по-вашему, стоит больше? Говорите смелее, не стесняйтесь!

– Извините, но ваш вопрос застаёт меня врасплох...

– Врасплох! Что же в нем необыкновенного? Или уж он так труден? Или сомнителен? Позвольте, приложим к нам обоим самую обыкновенную практическую мерку, основываясь на наших личных заслугах, и тогда вы будете принуждены согласиться, что мебельщик-столяр, получающий двадцать долларов в неделю за свою поденную работу, человек поднаторевшийся, выдавший виды, хлебнувший горького и сладкого, будет чуточку получше такого неопытного юнца, как вы, не умеющего ни заработать куска хлеба, ни пристроиться к какому-нибудь путному делу, ни ступить без посторонней помощи. Ведь ваша книжная наука придает только наружный лоск, а не воспитывает для практической жизни. Ну, так вот, уж если я – что-нибудь значащий на житейском рынке, – не пренебрег бы знатностью и богатством, то какое, черт побери, право имеете вы пренебрегать таким счастьем?

Трэси скрыл свою радость, хотя готов был броситься на шею столяру за его последние слова. Но ему пришла в голову новая идея, и он торопливо продолжал:

– Послушайте, однако я, право, не понимаю хорошенько вашего образа мыслей, сущности ваших принципов, если их можно так назвать. У вас слово расходится с делом. Будучи против аристократии, вы не прочь воспользоваться графским титулом, если бы вам улыбнулась судьба. Значит, надо понимать, что вы не осуждаете графа, если он остается графом?

– Конечно, не осуждаю.

– И вы не осудили бы Томпкинса, или себя, или меня, или кого бы то ни было, если бы мы приняли предложенное нам графское достоинство?

– Разумеется.

– Прекрасно. Тогда кто же, по-вашему, достоин осуждения?

– Вся нация, народная масса в любой стране, где мирятся с таким

позором, с такой обидой, с таким оскорблением, как наследственная аристократия, избранный круг, куда остальные граждане не имеют доступа на совершенно равных правах.

– Послушайте, а не замечаете ли вы у себя некоторой путаницы понятий на этот счет?

– Нисколько. Я смотрю на вещи совершенно здраво. Если бы я мог стереть с лица земли аристократическую систему, отклонив от себя предложенный мне знатный титул, я был бы мерзавцем, если бы принял его. И если бы ко мне присоединилось достаточное количество народной массы, чтобы произвести этот переворот, тогда я поступил бы подло, не присоединив туда своих усилий.

– Кажется, теперь я понимаю вас. Вы не порицаете счастливого меньшинства, которому, конечно, не хочется бросить насиженного родного гнезда, но осуждаете всемогущую тупую массу народа за то, что она мирится с существованием подобных гнезд.

– Вот именно! Однако вы способны понять простую вещь, если дадите себе труд над ней подумать.

– Спасибо!

– Не обижайтесь, Трэси; я хочу вам дать добрый совет. Когда вы вернетесь в Англию и увидите, что ваша нация готова ниспровергнуть сословные различия, чтобы смыть с себя это позорное пятно, присоединитесь к благородному мероприятию. Если же вы найдете, что старый порядок вещей остается в прежней силе, и вам предложат графские владения, берите их смело.

– Я так и сделаю, – серьезно ответил Трэси решительным тоном.

Барроу расхохотался.

– Отроду не видывал такого чудака! Я начинаю думать, что вы ужасный мечтатель. В вашей голове самая дикая фантазия моментально обращается в действительность. Сейчас вы посмотрели на меня такими глазами, словно вас бы удивило, если бы судьба не поднесла вам графской короны. – Трэси покраснел. – Графское наследство! – прибавил Барроу. – Лакомый кусочек, нечего сказать. Берите же его, если он свалится вам с неба, но до тех пор все-таки не надобно зевать, а подыскивать какое-нибудь занятие. И если вам предложат место в колбасной за шесть или за восемь долларов в неделю, ступайте за прилавок, выбросив из головы все пустые бредни.

ГЛАВА XV

Трэси улегся спать с облегченным сердцем и спокойным духом, чего уже давно с ним не бывало. Он задался благородной, возвышенной целью, что делало ему честь, – так рассуждал про себя повеселевший юноша, – он боролся по мере сил, но обстоятельства не благоприятствовали ему, – что также служит важным оправданием, – и если он потерпел неудачу, в этом нет решительно ничего постыдного. А при таком обороте дела вполне позволительно сложить оружие и невозбранно вернуться к почетному положению в обществе, от которого он было отказался ради своей идеи. И что же в том дурного? Даже завзятый республиканец, столяр Барроу, поступил бы точно так же. Да, его совесть наконец успокоилась.

Трэси проснулся на другой день бодрым, веселым и хотел тотчас отправиться за своей телеграммой. Он родился аристократом и, побыв некоторое время в рядах демократии, опять возвращался к прежнему состоянию. Кто может препятствовать ему в том? Не только в голове, но и в сердце у него произошел окончательный переворот. Теперь он стал искреннее, тогда как прежде в его чувствах сказывалась порою напускная экзальтация. Нравственная перемена не замедлила бессознательно отразиться и на внешности молодого человека. Его манеры, жесты со вчерашнего вечера получили большую уверенность, и в них проглядывал даже чуть заметный оттенок надменности. В таком счастливом настроении духа он спустился вниз к завтраку и собирался уже пройти в столовую, как вдруг увидел старика Марша в полутемном углу прихожей. Хозяин поманил его к себе пальцем. Краска бросилась в лицо Трэси, и он спросил тоном оскорбленного достоинства, с небрежным видом, который сделал бы честь молодому герцогу:

- Это вы меня зовете таким образом?
- Вас.
- Что вам нужно?
- Я хочу переговорить с вами наедине.
- Здесь мне некого стесняться.

Марш был неприятно поражен. Он подошел поближе и сказал:

– Если желаете, то я готов объясниться и при свидетелях, хотя обыкновенно этого не делаю.

Квартиранты, шедшие завтракать, с любопытством стеснились вокруг них.

– Ну, говорите, – повторил Трэси. – Что вам от меня нужно?

– Я хотел спросить, гм... не позабыли ли вы чего-нибудь?

– Я? Конечно, ничего.

– Право? Подумайте немножко и вспомните.

– Вот еще глупости! Мне совершенно неинтересно, а если вы интересуетесь каким-то вздором, то говорите прямо.

– Ну, хорошо, – отвечал Марш, сердито возвышая голос. – Вы забыли заплатить мне вчера за квартиру и стол. Вот вам! Вы сами пожелали выслушать мое напоминание при всех.

Это была правда. Наследник миллионного дохода, среди своих мечтаний и огорчений, забыл о злополучных трех или четырех долларах. Теперь он был наказан за свою забывчивость в присутствии презренного сброда, который поглядывал на него с иронией и недоверием.

– И это все? Берите ваши деньги и успокойтесь.

Рука Трэси торопливо опустилась в карман и... вдруг замерла. Он внезапно переменился в лице. Любопытство свидетелей этой сцены возрастало; у некоторых мелькнуло в чертах насмешливое злорадство. Наступило неловкое молчание. Потом молодой англичанин с усилием произнес:

– Меня... обокрали!

Глаза старика Марша вспыхнули пламенем. Горячая испанская кровь заговорила в нем.

– Обокрали? Скажите пожалуйста! – воскликнул он. – Знаете, это слишком старая песня, которая часто поется в здешних стенах. Каждый праздношатающийся лентяй без места повторяет то же самое. Эй, кто-нибудь! Сбегайте за мистером Аллэном. Скажите, что я требую его сюда. Теперь его очередь. Он также забыл заплатить вчера вечером.

В эту минуту по лестнице раздался вой. Одна из негритянок, служивших в отеле, с воплями бежала вниз, вне себя от испуга, дрожа всем телом:

– Мисто Марш, мисто Аллэн удрал!

– Что такое?

– Удрал и обчистил всю свою комнату: стащил оба полотенца, мыло!

– Врешь, негодяйка!

– Говорю вам, стащил. И носки мисто Семнера пропали, и ночная сорочка мисто Нэйлора.

Мистер Марш, доведенный до белого каления, обернулся к Трэси:

– Ну-с, когда же вы намерены уплатить?

– Конечно, сегодня, если вам так не терпится.

– Сегодня?! Эдакий прыткий! Сегодня воскресный день, а вы без работы. Право, это мне нравится. Говорите толком, когда вы надеетесь получить деньги?

Трэси опять почувствовал прилив самоуверенности, и ему захотелось удивить честную компанию.

– Я ожидаю заатлантической телеграммы из дома, – выпалил он.

Старик Марш был ошеломлен. Эта мысль показалась ему до такой степени дикой, невозможной, что он сразу не мог прийти в себя, а когда опомнился, то заговорил язвительным тоном:

– Заатлантическая телеграмма, каково?! Подумайте только, леди и джентльмены: он ожидает телеграммы из-за океана! Он, этот пустомеля, этот проходимец, эта шушера! От папеньки, конечно? Ну, разумеется! По доллару или по два за слово... О, для них это сущая безделица! Папашеньки такого рода гребут деньги лопатами. Ведь его родители, если не ошибаюсь...

– Отец мой – английский граф!

Толпа зрителей даже отшатнулась, пораженная таким «коленцем» неудачника. Последовал взрыв оглушительного хохота, от которого задребезжали оконные стекла. Между тем Трэси, ослепленный гневом, не сознавал сделанной им глупости.

– Дайте мне дорогу, – произнес он. – Я хочу...

– Обождите минутку, милорд, – возразил Марш с низким поклоном, – куда вы намерены отправиться?

– За своей телеграммой! Пропустите меня.

– Извините, пожалуйста, ваше лордство, вы не двинетесь с места.

– Что вы хотите этим сказать?

– А то, что я не со вчерашнего дня состою хозяином меблированного отеля и не поддамся на удочку какому-нибудь извозчичьему сыну, который пожаловал сюда из-за моря оттого, что не сумел пристроиться к делу у себя на родине. Нет, вам не удастся улизнуть отсюда, заморочив пустыми словами...

Взбешенный Трэси сделал шаг вперед, наступая на старика, и неизвестно, к чему привела бы их ссора, если бы миссис Марш не бросилась между ними.

– Успокойтесь, мистер Трэси! – воскликнула она и обратилась к мужу:

– А ты придержи свой язык! Что он такого сделал, что ты позволяешь себе эти грубые выходки? Сам видишь: человек тронулся рассудком от горя и неудач. Он просто не понимает, что говорит.

– Благодарю вас, сударыня, что вы заступились за меня! Извините

только: я в своем уме, и если бы меня пустили на телеграфную станцию...

– Не пущу! – заорал Марш.

– ...Или послали...

– Послать! Надеюсь, не найдется ни одного глупца, который бы согласился принять на себя такое нелепое поручение...

– Вот идет мистер Барроу; он сходит туда для меня... Барроу!..

Слова Трэси были заглушены восклицаниями многих голосов. Фыркая от смеха, присутствующие кричали наперебой:

– Представьте себе, Барроу, – он ждет заатлантическую телеграмму!

– Телеграмму от отца, подумайте только!

– Как же, весточку из-за океана от восковой куклы!

– Нет, какова штука, Барроу, этот малый оказывается графом! Снимайте шляпу, кланяйтесь пониже!

– Да, приехав в Америку, он забыл дома свою корону, которую надевает по воскресеньям, и телеграфировал папеньке, чтобы тот прислал ее сюда.

– Ступайте и принесите эту телеграмму, Барроу; его величество сегодня малость захромали.

– Замолчите! – выкрикнул столяр. – Дайте человеку сказать слово. – И, обращаясь к Трэси, он заговорил с оттенком строгости:

– Что такое нашло на вас, Трэси? Какую чепуху вы несете? Я считал вас гораздо рассудительнее.

– Я не говорил никакой чепухи. Если вы возьмете на себя труд сходить на телеграфную станцию...

– Перестаньте, пожалуйста! Я вам друг в несчастье и горе, в глаза и за глаза. Я охотно окажу вам помощь во всяком разумном деле, но в настоящую минуту вы сами не помните себя. Ваши бредни насчет какой-то телеграммы...

– Я схожу за ней! – внезапно раздался голос в толпе квартирантов.

– Благодарю вас, Брэди, от всего сердца. Вот вам и квитанция. Сбегайте поскорее на телеграф. Тогда все объяснится.

Брэди побежал со всех ног. Толпа гоготающих нахлебников стала затихать, точно пристыженная за свою резкость. Ею заметно овладело сомнение: «Ну, а что как, в самом деле, он ожидал заатлантическую телеграмму? Пожалуй, у него и впрямь отыщется богатый отец. Чего на свете не бывает! Может быть, мы слишком поторопились!» Эти мысли были написаны на лицах присутствующих. Смех тотчас прекратился. Громкое галденье сначала перешло в тихий говор, затем в шепот и наконец совершенно смолкло. Зрители стали расходиться. Они подсаживались в

одиначку и парами к завтраку в столовой. Столяр пытался увести туда с собою и Трэси, но тот отвечал:

– Нет, Барроу, не теперь.

Миссис Марш и Гэтти также любезно уговаривали его принять участие в общей трапезе, однако он стоял на своем:

– Я подожду возвращения Брэди.

Даже старик Марш почувствовал себя неловко. У него мелькнула мысль, не слишком ли далеко он зашел? Хитрый испанец был готов присоединиться к жене и дочери и уже двинулся к Трэси с заискивающим видом, когда тот остановил его решительным и слишком красноречивым движением руки. Затем на добрую четверть часа водворилась тишина, совершенно необычная в меблированном отеле во время воскресного завтрака. Если у кого-нибудь из присутствующих нечаянно выскальзывала из рук чашка и громко ударялась о блюдечко среди всеобщего торжественного безмолвия, остальные вздрагивали, и этот резкий звук казался чем-то непристойным, точно в комнате стоял гроб с покойником, и сюда ожидали прибытия важных участников погребальной церемонии. Громкий топот ног возвратившегося Брэди, который бежал по лестнице, показался всем какой-то грубой профанацией. Сидевшие за столом встrepенулись и ясно увидали, что вошедший в переднюю рудокop, запыхавшись, подал Трэси конверт. Трэси обвел компанию торжествующим взглядом и продолжал смотреть на дерзких насмешников, пока те в замешательстве не опустили перед ним глаза. Тогда он распечатал телеграмму и пробежал ее содержание. В ту же минуту желтая бумажка выскользнула из его пальцев и полетела на пол, а лицо бедняги побелело. В телеграмме было только одно слово: «Благодарю».

Тут известный во всем отеле шутник Билли Нэш, высокий коренастый рабочий из адмиралтейства, неожиданно принялся всхлипывать среди наступившего патетического молчания, когда у многих шевельнулась жалость к одинокому чужестранцу. Он вынул из кармана носовой платок и припал на грудь своего товарища, молодого кузнеца, самого застенчивого юноши между всеми квартирантами. – «Ах, тетенька, насколько вы безграмотны!» – причитал Билли, захлебываясь слезами, точно грудной младенец, если только можно себе представить младенца, воющего оглушительным басом.

Подражание детскому плачу выходило у него до того удачно, он брал такие разнообразные ноты и был до того смешон, что всякая серьезность моментально рассеялась, и никто не мог удержаться от громкого хохота при этой комедии. Наступившая реакция оказала свое действие; в квартирантах

опять заговорило мстительное чувство против Трэси за испытанную ими неловкость и обманутые ожидания. Они стали понемногу придирааться к своей жертве, приставать к ней и дразнить ее, точно стая собак, которая загнала кошку в угол. Жертва отвечала им недоверчивыми взглядами и защищалась, не обращаясь ни к кому лично, что еще сильнее подстрекало насмешников; когда же Трэси изменил тактику и стал называть своих мучителей по имени, предлагая каждому из них померяться силами, шутка потеряла для этих людей всю свою прелесть, и они понемногу присмирели.

Марш хотел было объясниться с неаккуратным жильцом, однако Барроу остановил его:

– Оставьте его теперь в покое, хозяин. Ведь у вас с ним только денежные счета, которые я берусь уладить сам.

Огорченная, расстроенная хозяйка бросила на столяра благодарный взгляд, а всеобщая любимица, пестревшая сегодня всеми цветами радуги в своем дешевеньком, но кокетливом воскресном платье, послала ему воздушный поцелуй кончиками пальцев, сказав с самой милой улыбкой и ласковым кивком головы:

– Вы один здесь настоящий мужчина, и я готова сделать для вас все на свете, голубчик вы мой!

– Ай, как тебе не стыдно, Киска? Никогда не видывала я такого избалованного ребенка!

Путем ласковых упрасиваний удалось-таки уговорить Трэси, чтобы он позавтракал, хотя сначала обиженный юноша объявил, что не съест больше куска в этом доме, и прибавил даже, что у него достанет твердости характера в случае нужды умереть с голоду, так как это все-таки лучше, чем глотать вместе с хлебом незаслуженные оскорбления.

После завтрака Барроу увел его к себе в комнату, набил ему трубочку и заговорил веселым тоном:

– Ну, старый дружище, спускайте свой боевой флаг: здесь вы не в неприятельском лагере и можете успокоиться. Я понимаю, что неудачи сбили вас с толку, и вы сами не знали, что делаете. Человек вполне естественно пустится во все тяжкие, когда на него нападет отчаяние. Постарайтесь отвлечь ваши мысли от неприятных обстоятельств, тяните их за уши, за пятки, как вам угодно, только развеселитесь. Раздумывать без толку о своих неудачах и переворачивать их у себя в голове – самое убийственное занятие, выражаясь умеренным образом. Говорю вам, встряхнитесь хорошенько; думайте о чем-нибудь веселом.

– О, я – несчастный.

– Ну вот, я сказал, что вы дошли до отчаяния, а этого не надо.

Бодритесь и будьте веселы.

– Легко сказать, Барроу! Как я буду весел, если на мою голову свалились все несчастья? Мне никогда не снилось, что я могу прийти до такого положения. Нет, меня возмущает даже всякая мысль о веселье; давайте лучше говорить про смерть и похороны.

– Ну, уж ни в каком случае! Это значило бы махнуть рукой на все. Стыдно падать духом. Я хочу доставить вам развлечение и с этой целью послал Брэди в одно местечко, пока вы завтракали.

– В самом деле? Что же такое вы затеяли?

– А вам хочется узнать? Отлично! Любопытство – хороший признак. Значит, вас еще можно спасти.

ГЛАВА XVI

Брэди явился с ящиком и опять исчез, успев только сказать:

– Они кончают одну работу и сейчас придут.

Барроу вынул из ящика портрет масляными красками без рамы, в квадратный фут величиною, и поставил его перед Трэси, выбрав наиболее выгодное освещение, после чего украдкой бросил на товарища испытующий взгляд. Однако лицо Трэси не изменило своей окаменелой неподвижности и оставалось бесстрастным. Барроу поставил перед ним другой портрет, рядом с первым, и опять украдкой взглянул на товарища, отправляясь за третьим. Ледяное выражение в чертах молодого человека несколько смягчилось. № 3 вызвал подобие улыбки. № 4 совсем оживил его, а № 5 заставил юношу рассмеяться искренним смехом, который перешел в веселый хохот при № 14, когда тот появился вслед за другими.

– Ну, вот теперь вы пришли в себя, – сказал Барроу. – Если вас можно рассмешить, значит, еще не все потеряно.

Принесенные картины оказались чудовищными в смысле колорита, письма и экспрессии, но одна черта делала их положительно смехотворными. Каждый из четырнадцати портретов был снабжен одинаковыми атрибутами. Если забавно видеть фигуру коренастого ремесленника в партикулярном платье, с важностью опирающегося на пушку, которая стоит на берегу, тогда как на заднем плане виднеется корабль на морских волнах, то что же сказать о целой портретной галерее, где на каждой картине фигурирует тот же корабль и та же пушка? Трудно представить себе что-нибудь нелепее подобного зрелища.

– Объясните, объясните мне, ради Бога, что значит эта мистификация? – воскликнул Трэси, заливаясь смехом.

– Надо вам сказать, что эти мастерские произведения исполнены кистью не одного гения, а целых двух, – отвечал Барроу. – Они работают сообща; один пишет фигуры, другой аксессуары. Первый художник – немецкий башмачник с необыкновенной страстью к живописи; другой – простодушный старый янки, отставной моряк, который умеет малевать только корабли, пушки и морские волны. Они срисовывают портреты с дешевых моментальных снимков на металлической пластинке по двадцать центов за штуку, а за свою работу получают по шесть долларов за экземпляр, причем пишут общими силами по две штуки в день, когда, по их выражению, «бывают в ударе», то есть под наитием художественного

вдохновения.

– И неужели им платят деньги за такое безобразие?

– Даже с большим удовольствием. И дела этих пачкунов процветали бы еще лучше, если б капитан Сольтмарш был способен изобразить лошадь, фортепиано, гитару или что-нибудь подобное, вместо своей неизменной пушки. Говоря по правде, она всем намозолила глаза; даже заказчики-мужчины, и те не хотят ее больше, не говоря о женщинах. Оригиналы всех показанных вам четырнадцати портретов недовольны своими изображениями. Один из них – служака из вольной пожарной команды, и ему хотелось бы видеть пожарную машину вместо пушки. Ломовой извозчик хочет, чтобы вместо корабля на заднем плане рисовались роспуски; словом, каждый требует атрибутов своей профессии; а между тем капитану никогда не удастся нарисовать ничего, кроме кораблей и пушек, так что он не может выйти из заколдованного круга.

– Знаете, это самый необыкновенный вид эксплуатации человеческой глупости. Положительно, я не слыхивал ни о чем подобном. Вы меня заинтересовали не на шутку.

– Да и сами художники – прекурьезный народ. Люди они честные и вполне порядочные. Старый янки очень набожен; он прилежно изучает священное писание, которое любит толковать вкривь и вкось. Трудно представить себе человека добрее Сольтмарша, хотя он имеет привычку сквернословить и ругаться, как все моряки.

– Молодчина! Я хотел бы с ним познакомиться, Барроу.

– Охотно доставлю вам этот случай. Кажется, они идут. Если хотите, мы сведем речь на их искусство.

Художники пришли и чрезвычайно дружески поздоровались с хозяином комнаты. Немец оказался сорокалетним мужчиной, довольно полным, с блестящей лысиной, добродушным лицом и почтительным обращением. Капитану Сольтмаршу было под шестьдесят; высокий ростом, атлетически сложенный, он держался прямо. Его черные, как уголь, усы и волосы не были тронуты сединой, а загорелое, точно дубленое, лицо, поступь и движения отличались самоуверенностью, привычкой повелевать и решимостью. Жесткие руки моряка были татуированы, а зубы так и сверкали белизной; без малейшего усилия он говорил потрясающим басом, напоминавшим звуки церковного органа, и от его могучего дыхания пламя газового рожка свободно могло бы развеяться на пятьдесят ярдов в сторону.

– Великолепные картины! – сказал Барроу. – Мы только что любовались ими.

– Очень рад, что они понравились вам, – сказал с очевидным удовольствием Гандель, честный немец. – Ну, а вы, гер Трэси, как находите нашу работу?

– Могу по совести сказать, что никогда не видал ничего подобного.

– Schön! – с восторгом воскликнул сапожник. – Слышите, капитан? Вот этот шентльмен хвалит наше искусство.

Капитан пришел в восторг и сказал:

– Нам очень лестно слышать вашу похвалу, хотя теперь, создав свою репутацию, мы отовсюду получаем одобрение.

– Да, репутация – самое важное во всяком деле, капитан.

– Совершенно верно. Надо не только уметь взять риф, но и показать шкиперу, что ты умеешь сделать это. Вот вам и репутация. «Вовремя сказанное доброе слово создает нам славу, а зло пускай падет на того, кто умышляет злое», – сказал пророк Исай.

– Это очень возвышенно и вполне определяет вашу мысль, – заметил Трэси. – Где вы обучались живописи, капитан?

– Я нигде не обучался ей; это – природное дарование.

– Он так и родился с этой пушкой в голове. Капитан ничего не делает сам по себе; его гений руководит им. Дайте ему сонному кисть в руки, и у него выйдет пушка. Клянусь честью, если бы он мог нарисовать фортепиано, гитару или лоханку, мы были бы богаты.

– Как жаль, что трудовая жизнь помешала развиваться его таланту и ограничила круг его деятельности! – заметил Трэси.

Капитан немного взволновался этими словами и подхватил:

– Вы совершенно правы, мистер Трэси. Мой талант загублен, а это очень жаль. Вот взгляните сюда, на портрет № 11; тут нарисован содержатель наемных экипажей, и могу вас уверить, что его дела процветают. Ему хотелось, чтобы я нарисовал запряженную лошадь на том месте, где стоит пушка. Чтобы как-нибудь выпутаться из затруднения, я принялся уверять его, будто бы пушка и корабль – установленные знаки нашей фирмы, так сказать, доказательство, что этот портрет нашей работы. В противном случае люди не поверят, что это настоящий Сольтмарш – Гандель. Вот хоть бы вы сами...

– Позвольте, капитан, вы клеветеете на самих себя. Каждый, кто видел настоящего Сольтмарша – Ганделя, никогда не ошибается на этот счет. Отнимите у него всякую деталь, и уж по одному колориту и экспрессии каждый узнает вашу работу и остановится перед нею в немом благоговении...

– Ах, как приятно слышать ваши похвалы!

– Остановится и скажет самому себе, как говорил сто раз перед тем: «Живопись Сольтмарша – Ганделя – искусство совершенно особого рода, «ни на небеси горе, ни на земле низу» не найдется ничего ему подобного...»

– Nur hören Sie einmal! Никогда в моей жизни не слышал я таких драгоценных слов.

– Так я и отговорил заказчика, мистер Трэси, изображать возле себя запряженную лошадь. Тогда он стал просить нарисовать около него хотя похоронные дроги, потому что он участвует по найму в погребальных процессиях. Но я не умею рисовать ни погребальной колесницы, ни запряженной лошади; и вот из-за этого мы терпим большой ущерб. То же самое выходит и с женским полом; леди приходят и просят нарисовать какой-нибудь веселенький пейзажик на фоне их портрета...

– То есть вы хотите сказать, некоторые аксессуары, которые придают жанр картине?

– Ну, да, понимаете, там какую-нибудь кошку и финтифлюшку, чтобы выходило поэффектнее! Мы загребали бы деньги, будь у нас клиентура из женского пола; да в том беда, что мы не умеем рисовать разных штучек, какие нравятся женщинам. А в артиллерии они не смыслят ни бельмеса. Что им артиллерия! Они за нее гроша ломаного не дадут. А все я виноват, – с сокрушением продолжал капитан. – Остальное у нас выходит великолепно; мой товарищ, скажу вам, художник с головы до ног.

– Послушайте, что говорит этот старик! Он всегда префосносит меня таким манером, – перебил польщенный немец.

– Ну, посмотрите вы сами! Четырнадцать портретов в ряд, и хоть бы два из них были похожи между собою.

– Ваша правда, я этого и не заметил. Удивительная особенность, единственная в своем роде, не так ли?

– Вот именно. Наш Энди удивительно умеет различать людей. Мне помнится, что в сорок девятом псалме... Впрочем, это не относится к настоящему вопросу. Мы добросовестно трудимся, и наш труд оплачивается в конце концов.

– Да, Гандель очень силен по части характеристики лиц. Каждый должен с этим согласиться. Но не находите ли вы, что он немножко чересчур силен в технике?

Лицо капитана выразило полнейшее недоумение и оставалось бессмысленным, пока он бормотал про себя: «Техника... техника... политехника... пиротехника; это что-то насчет фейерверков, значит – избыток красок». Потом он заговорил уже спокойным и уверенным тоном:

– Да, он любит яркий колорит; впрочем, все заказчики падки на это; вот хоть бы взять № 9. Тут нарисован мясник Эванс. Пришел он к нам в мастерскую с таким лицом, какое бывает у всякого трезвого человека, а на портрете, взгляните-ка, вышел румяным, точно у него скарлатина. И уж как это ему понравилось, вы представить себе не можете! Теперь я делаю эскиз связки сосисок; хочу повесить их на пушку на портрете Эванса, и если эта штука мне удастся, наш мясник запляшет от радости.

– Ваш сообщник... извините, я хотел сказать, сотоварищ, без сомнения, великий колорист.

– Oh, danke schön!

– ...Действительно необычайный колорист, не имеющий себе подражателей ни здесь, ни за границей; его талант пробивает новые пути с мощной силой тарана, а его манера так оригинальна, так романтична и невиданна, так прихотлива, так говорит сердцу, что... я полагаю... его можно назвать импрессионистом.

– Нет, – наивно возразил капитан, – он пресвитерианец.

– Ну, это объясняет все; в его искусстве есть что-то небесное, задушевное, вы чувствуете в нем неудовлетворенность, томительное стремление к идеальному, порыв к необъятному горизонту, неясное откровение, которое манит дух в загадочные ультрамариновые дали, звучит отдаленным эхом катаклизмов в еще не созданном пространстве... Скажите, мистер Гандель пробовал когда-нибудь водяные краски?

– Насколько мне известно, нет, – энергично возразил моряк, – но его собака пробовала их, и тогда...

– Ах, оставьте, пожалуйста, это была вовсе не моя собака.

– Как же так, ведь вы сами говорили, что она ваша?

– О, нет, капитан, я...

– Ну, вот еще, рассказывайте! Такой белый песик с отрубленным хвостом и с оторванным ухом?..

– Ну, да, та самая собака, клянусь «Кеоргом», была готова лизать что угодно...

– Ладно, оставим это. Право, я никогда не видал такого спорщика, как вы. Стоит заговорить об этой собачонке, как Энди выходит из себя и готов препираться с вами целый год. Однажды он проспори́л целых два с половиной часа...

– Не может быть, капитан, – сказал Барроу, – это должна быть одна пустая молва.

– Нет, сэр, не пустая молва, он спорил со мною.

– Удивляюсь, как вы это выдержали.

– Ничего, привык. Поживите-ка вместе с Энди, и вы сами станете таким же спорщиком. Впрочем, это его единственный недостаток.

– А вы не боитесь им заразиться?

– О, нет, – спокойно отвечал капитан. – Нисколько не боюсь.

Художники ушли. Тогда Барроу положил руки на плечи Трэси и сказал:

– Взгляни мне в глаза, мой мальчик. Хорошенько, хорошенько! Да ты еще не погиб, как я и был уверен. Слава Богу, ты в здравом уме. Голова у тебя на месте. Но не повторяй опять таких промахов. Это неблагоприятно; люди тебе не поверят, если бы ты и в самом деле был графским сыном. Разве ты не понимаешь, что этому нельзя поверить? И что на тебя нашло, что ты выкинул эдакое коленце? Впрочем, довольно о том. Ты видишь сам, что ты поступил неладно. Это была ошибка.

– Да, действительно, ошибка!

– Ну, и отлично; выкинь блажь из головы; беда еще не велика; мы все попадаем впросак. Соберись-ка лучше с духом, да не задумывайся, не опускай рук. Я готов помочь тебе, а вдвоем авось мы что-нибудь и сделаем, только не робей.

Когда он ушел, Барроу некоторое время прохаживался по комнате в невеселом раздумье. «Заботит меня этот парень, – размышлял он про себя. – Никогда малый не выкинул бы подобной штуки, если бы не тронулся маленько. А ведь нужда скрутит хоть кого: работы нет, и впереди не на что надеяться. В таких обстоятельствах и духом падаешь, и гордость страдает, а потом как начнет донимать тоска, так того и гляди с ума спятишь. Надо поговорить с соседями. Если в них есть капля жалости, – а им нельзя отказать в человеколюбии, – то они будут к нему снисходительнее, когда узнают, что Трэси немного тронулся с горя. Только необходимо найти ему какое-нибудь дело; это единственное лекарство от его болезни. Бедняга! Один на чужой стороне, и ниоткуда никакой помощи».

ГЛАВА XVII

Едва Трэси остался один, как опять его охватила тоска, и безвыходность собственного положения представилась ему во всем ужасе. Остаться без денег и зависеть от великодушия бедного столяра было уже достаточно скверно, но объявить себя графским сыном перед этим насмешливым, недоверчивым сбродом и к довершению всего осрамиться перед подобными людишками! О, ужё одно воспоминание о пережитых унижительных минутах удваивало его пытку! Он дал себе слово никогда больше не разыгрывать лорда перед этой разношерстной компанией, которая считала его проходимцем.

Неожиданный лаконичный ответ отца был для Трэси жестоким ударом и необъяснимой загадкой. Пожалуй, граф Росмор воображал, что сын пристроился в Америке к какому-нибудь делу, и старик не хотел мешать ему в надежде, что суровый и неумолимый житейский опыт излечит юношу от его радикализма. Это было самое вероятное предположение, однако Трэси не мог им удовольствоваться. Он все еще не терял надежды, что за первой телеграммой последует другая, более ласковая, с приглашением вернуться домой. Уж не смириться ли ему? Не написать ли, прося денег на обратную дорогу? О, нет, он этого ни за что не сделает, по крайней мере, теперь. Отец наверное телеграфирует ему еще раз. И Трэси каждый день ходил с одной телеграфной станции на другую, спрашивая, нет ли телеграммы на его имя. Так продолжалось целую неделю, и все безуспешно. Телеграммы не было. На станциях сначала ему вежливо отвечали на вопрос, потом отрывисто говорили: «Не получено», прежде чем он успевал открыть рот, а под конец только нетерпеливо трясли головой, едва завидев его фигуру. После этого ему стало стыдно надоедать понапрасну людям. Глубокое отчаяние овладело им, потому что все старания Барроу найти для него работу встречали неодолимые препятствия. Убитый неудачами, он сказал однажды столяру:

– Послушайте, я хочу сделать вам одно признание. Обстоятельства довели меня до того, что я не только в глубине души называю себя никуда не годной дрянью, пропитанной ложной гордостью, но открыто сознаюсь в том перед вами. С моей стороны было непростительно допускать, чтобы вы так много хлопотали о приискании мне работы, тогда как я мог получить ее каждую минуту. Простите мне этот остаток самолюбия. Теперь я на все махнул рукой, и если ваши знакомые художники будут согласны принять

нового сотоварища, то я готов предложить им свои услуги, потому что потерял всякий стыд.

– Неужели? Так вы можете рисовать?

– Не так скверно, как они. Таланта у меня, разумеется, нет никакого, и я – самый поверхностный любитель искусства, жалкий пачкун, артистический сарказм, но даже в пьяном виде или во сне мне нетрудно перещеголять ваших портретистов.

– Вашу руку; право, я, кажется, взбешусь от восторга, до того вы меня обрадовали и оживили. О, только бы работать! В работе жизнь. В чем бы ни состоял труд, это все равно; он сам по себе служит благословением, когда человек жаждет деятельности. Я испытал это на себе лично. Пойдемте сию же минуту к этим чудакам. Скажите, у вас полегчало на душе? А у меня как камень с груди свалился.

Разбойников искусства не было дома, но их «произведения» были расставлены по всей убогой мастерской. Пушка справа, пушка слева, пушка прямо, настоящий Балаклавский бой.

– Вот как раз портрет недовольного извозчика, Трэси. Возьмите кисть, переделайте зеленоватые морские волны в лужайку, а корабль обратите в дроги. Пускай наши художники увидят, на что вы способны. Не ударьте в грязь лицом.

Хозяева пришли, когда молодой человек клал последние мазки. Они окаменели от изумления.

– Клянусь честью, эти дроги настоящее чудо; вот обрадуется извозчик, когда увидит; не правда ли, Энди?

– О, это феликолепно! Гер Трэси, отчего было не сказать, что вы такой блистательный артист? Если бы вы жили в Париже, вам присудили бы *prix de Rome* за какую угодно картину!

Новые товарищи скоро сошлись в условиях. Трэси был принят пайщиком на равных правах и немедленно принялся за работу, с неутомимой энергией переделывая шедевры, аксессуары которых не удовлетворяли заказчиков. В этот и последующие дни артиллерия исчезла с портретов, уступив место эмблемам мира и торговли; молодой живописец изображал кошек, экипажи, сосиски, ломовые телеги, пожарные насосы, фортепиано, гитары, скалы, сады, вазы с цветами, ландшафты – все, что требовалось, и чем неуместнее, чем нелепее были требования заказчиков, тем с большим удовольствием он исполнял их. Пираты искусства были в восторге, клиенты ахали, в мастерскую стали заглядывать женщины, и фирма процветала. Трэси должен был сознаться самому себе, что эта работа, при всей своей грубости и скромных результатах, приносила ему

несомненное нравственное удовлетворение, совершенно неожиданным образом возвышая его в собственных глазах.

Непризнанный депутат от Чироки-Стрип находился в глубоком унынии; со времени своего приезда в Вашингтон он не жил, а прозябал, постоянно переходя от блестящих надежд к самому мрачному разочарованию. Блестящие надежды создавались волшебником Селлерсом, который не переставал уверять, что теперь дело в шляпе, и он заставит материализованного ковбоя не сегодня завтра явиться в Росмор-Тоуэрс еще до наступления вечера. Но эти предсказания не сбывались, и отсюда происходило мрачное уныние майора. Наконец в один прекрасный день Селлерс заметил, что испытанные средства не действуют больше на Гаукинса, который окончательно повесил нос. Тогда он решился во что бы то ни стало вырвать своего бедного друга из когтей мрачного отчаяния. Да, его надо развеселить, заставить улыбнуться. Полковник не выносил печальных лиц и страдальческих взглядов. Его изобретательность и на этот раз сделала чудеса.

– Знаешь, дружище Гаукинс, – заговорил он вдруг таинственным тоном, – эта материализация затягивается ужасно долго, и нам с тобой, конечно, предосадно. Согласен ты со мною?

– Согласен или нет, в этом мало проку.

– Ну, ладно. Важно установить сам факт. Теперь рассмотрим основу нашей досады. В данном случае у тебя не затронуты ни сердце, ни личные чувства, то есть тебе, собственно, наплевать на материализацию, как она есть сама по себе. Согласен?

– Согласен, и совершенно искренно.

– Опять-таки отлично; мы подвигаемся вперед. Значит, наша досада относится не к самому процессу материализации и не зависит от ее предмета. Отсюда происходит, – продолжал граф, и его глаза блеснули торжеством, – что все наше недовольство порождается только безденежьем. Последний вывод основан на самой несокрушимой логике, не так ли?

– Ну, конечно, что и толковать об этом.

– Прекрасно. Когда найден источник болезни, нетрудно найти и лекарство. В данном случае нам требуются деньги и ничего более.

Знакомое, слишком знакомое искушение звучало в этом легкомысленном, таинственном тоне, в этих многообещающих словах, и лицо Гаукинса снова просияло доверием и надеждой, когда он сказал:

– Да, нам нужны только деньги, но неужели вы знаете способ?.. – Его голос дрогнул.

– Вашингтон, неужели ты думаешь, что у меня нет иных ресурсов,

кроме тех, о которых я говорю посторонним лицам и своим близким друзьям?

– Извините, но...

– Неужели человек, скрытный по природе, наученный горьким опытом и осторожный, не оставит про запас кое-каких источников, чтобы иметь возможность выбора в критическую минуту?

– Вы вливаете в меня новую жизнь, полковник!

– Бывал ли ты когда-нибудь в моей лаборатории?

– Не бывал.

– Вот то-то и есть! Ты даже не знаешь, что я обзавелся лабораторией. Пойдем со мной. Там у меня есть любопытная штука, которую я хочу тебе показать. Я держал ее в секрете, и едва ли человек пятьдесят знают о ней. Но такая уж у меня привычка: я всегда держу язык за зубами. Гораздо лучше подождать, пока все готово, и тогда разом поразить всех.

– Ах, полковник, никто не внушал мне такого неограниченного доверия к себе, как вы! Стоит вам одобрить какую-нибудь вещь, и уж я чувствую заранее, что все выйдет отлично; не надо мне ни доказательств, ни проверок и ничего прочего!

Старый граф был глубоко польщен и тронут.

– Я рад, что ты веришь в меня, Вашингтон; не все так справедливы ко мне.

– Я всегда верил в вас и буду верить, пока жив!

– Спасибо, голубчик, и ты не расквесишь в своем доверии. – Придя в лабораторию, граф продолжал:

– Теперь осмотришь внимательно в этой комнате, что ты здесь видишь? Как будто лавку старьевщика или больницу, соединенную с комиссией для выдачи патентов. На самом же деле все это замаскированные рудники Голконды. Вот посмотри на эту штучку; как думаешь, что это может быть?

– Право, не могу себе представить.

– Это мое великое применение фонографа к морской службе. Это склад ругани для пользования во время плавания. Ты знаешь, что моряки не сделают шага без самых отчаянных проклятий, и шкипер, который умеет лучше всех ругаться, неоцененный человек. Его талант спасает корабль во время бедствия. Ну, а ведь судно громадная машина, и шкипер не может поспевать везде одновременно; поэтому случается, что корабли гибнут, чего не было бы, если бы на каждом из них находилось по сотне шкиперов. Слышал ты про морские бури? Адская штука! И если нельзя иметь на судне сотню шкиперов, то их можно заменить сотней ругающихся фонографов, расставленных по всему кораблю. Представь себе жестокий шторм и сотню

моих аппаратов, одновременно изрыгающих страшнейшие проклятия. Дивное зрелище! Что можно придумать лучше этого? Фонографы делают свое дело, а корабль идет себе преспокойно среди бури, как будто стоит на якоре в тихой пристани.

– Превосходная идея! Но как же вы устроите эту штуку?

– Очень просто: надо только зарядить аппарат.

– Каким образом?

– Стать над ним и ругаться в его отверстие.

– И он тогда зарядится?

– Конечно! Потому что каждое слово запечатлется в нем и сохранится, понимаешь ты, сохранится навсегда. Оно не изглаживается более оттуда. Стоит только повернуть ручку, и ругательства польются потоком. Во время страшных бурь можно заставить вал вертеться в обратную сторону; тогда фонограф начнет браниться наизусть. Ну, каждый матрос, конечно, поневоле встряхнется от такой ругани!

– Ясное дело! А кто же станет их заряжать?

– Можно поручить эту обязанность шкиперу, а не то я буду поставлять фонографы уже заряженными. Я могу пригласить с этой целью эксперта с жалованьем в семьдесят пять фунтов стерлингов в месяц, который легко зарядит полторы сотни фонографов в полтора часа. А уж эксперт смыслит в этом деле, конечно, больше, чем необразованный шкипер; у специалиста ругательные термины будут первый сорт. Тогда, понимаешь, корабли со всего света примутся раскупать мои фонографы заряженными, потому что мои аппараты будут ругаться на всевозможных языках, на каких только угодно покупателю. И сообрази, Гаукинс, что через это я ведь произведу величайший нравственный переворот в девятнадцатом столетии. Пять лет спустя всякая ругань и проклятия станут произноситься одними машинами, и ни одно богохульное слово не сорвется более с человеческих уст на борту корабля. Между тем до сих пор миллионы долларов тратились религиозными обществами на искоренение богохульства в коммерческом флоте – и все безуспешно. Поэтому мое имя сохранится вовеки в благодарной памяти потомства, и я буду знаменит как человек, осуществивший своими единичными усилиями благородную и возвышенную реформу.

– О, это грандиозно, благотельно, прекрасно! И как вы придумали подобную вещь? У вас удивительный ум. Как, вы говорите, надо заряжать аппарат?

– Тут нет ровно ничего мудреного. Если ты хочешь зарядить фонограф так, чтобы он громко произносил слова, стань прямо над ним и кричи. Если

же ты оставишь его открытым и в готовом виде, то он примется «подслушивать», то есть зарядится сам различными звуками, раздающимися вблизи него на шесть футов расстояния. Теперь я покажу тебе, как он работает. Вчера я призывал специалиста, чтоб зарядить вот этот. Ай-ай, его оставили открытым; это нехорошо! Впрочем, мне помнится, кругом было настолько тихо, что он не мог собрать подходящего материала. Все, что теперь с ним требуется сделать, это нажать пуговку внизу, вот так.

Полковник Селлерс привел аппарат в действие, и фонограф запел плаксивым, тонким голосом:

*Есть гостиница одна,
Далеко стоит она,
Трижды в день там есть дают.
И недорого берут.*

– Ах, черт побери, совсем не то! Кто-нибудь у нас поблизости распевал эту чепуху.

Жалобное пение возобновилось вперемешку с громким, постоянно возвышающимся мяуканьем котов, которые затевают драку.

*Лишь к обеду зазвонят,
Квартиранты загалдят,
Их хозяин созывает...*

(моментальный взрыв жестокой кошачьей схватки, заглушающий какое-то невнятно произнесенное слово).

... Трижды в сутки угощает.

(новый взрыв кошачьего мяуканья и рева). Затем пронзительный дискант кричит: «Брысь, вы, окаянные!» Слышно, будто бы в дерущихся котов пустили чем-нибудь, и они шарахнулись врассыпную.

– Ну, это ничего, будем слушать дальше. Фонограф сейчас дойдет до крепких словечек из лексикона моряков. Впрочем, дело не в том; теперь ты видел, как действует механизм?

– Он действует великолепно! – воскликнул Гаукинс. – Я понимаю, что в нем скрыты несметные богатства.

– Да, и семейство Гаукинсов получит из них свою долю, Вашингтон.

– О, благодарю, благодарю вас! Вы великодушны, как всегда, а фонограф – величайшее изобретение нашего века!

– Правда, мы живем во времена чудес. Стихии кишат благотворительными силами; так было всегда, но наше поколение впервые открыло их и сумело приспособить для человечества. Поверь, Гаукинс, всякая вещь имеет свою полезную сторону, и ничто не должно пропадать даром. Возьмем, к примеру, хотя бы миазмы. Известно, что из них выделяется аммиачный газ, который до сих пор не применялся ни к чему: никто не думал собирать его; ты не можешь назвать мне ни единого человека, которому пришла бы в голову эта идея. Не правду ли я говорю, ведь ты согласен со мной?

– Совершенно. Только я, право, не мог представить себе, чтобы кому-нибудь могло понадобиться...

– Собирать его? А вот я тебе сейчас объясню. Взгляни сюда, это мое новое изобретение – особый аппарат, который я назвал «разлагателем». Клянусь честью, если ты мне укажешь дом, где выделяется известное количество аммиачного газа в день, я берусь при помощи моего разлагателя увеличить это количество в сто раз – менее чем в полчаса.

– Господи, да зачем вам это?

– Как зачем? Послушай и узнаешь. Это вещество может служить отличным осветительным материалом, чрезвычайно важным в экономическом отношении; аммиачный газ не применяется решительно ни к чему и не стоит ни единого цента. Чтобы добыть его, нужно только приделать мой разлагатель к любой трубе для стока нечистот, и дело в шляпе. Для этого можно воспользоваться даже обыкновенными газопроводными трубами. Ну, сообрази-ка теперь, какова эта штука? Даю голову на отсечение, что через пять лет не будет дома, который бы освещался чем-нибудь другим, кроме аммиачного газа. Это открытие можно рекомендовать каждому доктору, каждому водопроводчику.



- Но ведь этот способ освещения опасен?
- Более или менее, да. Но ведь что ни возьми, все опасно: и угольный газ, и свечи, и электричество.
- А хорошо он горит?
- Великолепно.
- Вы производили опыты?
- Пока еще нет. Полли предубеждена против этого, но я бьюсь об заклад, что, если новая система освещения будет принята в доме президента, она пойдет в ход, можешь быть в том уверен. На, возьми вот этот разлагатель, Вашингтон; теперь он мне пока не нужен. Можешь произвести с ним опыт в какой-нибудь гостинице!

ГЛАВА XVIII

Вашингтона слегка покорило при таком предложении, но потом его взгляд сделался задумчивым, и майор как будто забыл все окружающее. Немного спустя Селлерс поллюбопытствовал, что занимает его мысли.

– Вот что; скажите мне откровенно, нет ли у вас в голове такого секретного проекта, на осуществление которого не хватило бы всех фондов английского банка?

Полковник изумился и спросил:

– Послушай, Гаукинс, разве ты умеешь читать в чужой душе?

– Никогда не пробовал.

– Как же ты мог напасть на такую идею? Это просто чтение чужих мыслей, хотя, по твоим словам, ты и не имеешь понятия, что это значит. У меня, действительно, есть проект, на который нужны все фонды английского банка. Но как ты мог о том догадаться? Путем какого психического процесса? Это, право, преинтересно.

– Никакого тут нет процесса; у меня совершенно случайно мелькнула мысль о том, куда вы денете свои несметные богатства? Ну, сколько нужно мне или вам для совершенно обеспеченной жизни? Сто тысяч. Между тем два или три из ваших последних изобретений принесут целые биллионы, и вы непременно добьетесь этого. Если бы вам требовалось десять миллионов фунтов стерлингов, я мог бы еще это понять: такая цифра не превосходит границ человеческого понимания; но биллионы! Это уж хватает через край. У вас непременно должен быть колоссальный проект в голове, на который и потребуются все эти невероятные суммы.

Любопытство и изумление графа возрастало с каждым словом Гаукинса, и когда тот кончил, он воскликнул в величайшем восторге:

– Ты удивительно умно рассудил, Вашингтон, доказав этим свою необыкновенную проницательность! Ты напал на настоящий след, угодил в самую точку, разгадал мои сокровеннейшие мечты. После этого я открою тебе все, и ты поймешь меня. Мне нечего напоминать тебе о необходимости молчания, потому что о таких вещах лучше не болтать до поры до времени. Заметил ли ты, сколько памфлетов и книг о России собрано у меня?

– Да, я полагаю, ни у кого нет такой массы, по крайней мере, ни у кого, кто находится еще в живых.

– Познакомившись в достаточной степени по разным источникам с великой и замечательной русской нацией, я задумал купить Сибирь и

устроить в ней республику!

– Боже праведный!

– Что с тобой? Отчего ты подпрыгнул, точно на пружине?

– Господи, да когда вы брякнете такое словечко, поневоле подскочишь на стуле, точно ты готов сейчас вылететь сквозь крышу! Честное слово, вам следовало бы сначала подготовить своего собеседника, прежде чем огорошить его подобной штукой; а вы вдруг сообщаете мне непостижимый, гигантский проект самым хладнокровным тоном. Ведь эдак долго ли до беды? Продолжайте, впрочем. Теперь я оправился и горю нетерпением узнать, что будет дальше. Итак, вы хотите купить Сибирь?

– Да, едва только получу деньги. За ценой я не постою; когда же мною будет организована республика в этой обширной и богатейшей стране, свет свободы, умственного развития, справедливости засияет там на глазах изумленного мира.

Граф внезапно остановился, гордо выпрямив стан, и стал задумчиво смотреть в окно, не защищенное занавесками. Потом он вдруг окликнул Гаукинса и, указывая на что-то рукою, таинственно вымолвил, понизив голос:

– Смотри!

– Что там такое, полковник?

– Вот он!

– Не может быть!

– Это так же верно, как то, что ты живешь на свете. Тише, ни с места! Я употреблю все свое влияние, приложу все свои силы. Мне удалось достичь желаемого; теперь я заставлю его войти в дом. Вот ты увидишь.

И он принялся делать в воздухе пассы обеими руками.

– Гляди: я вызвал у него улыбку; видишь?

Это была совершеннейшая правда. Трэси вышел под вечер прогуляться и случайно увидал свои фамильные гербы на фасаде жалкого домишки. Траурные украшения заставили его улыбнуться, и не мудрено: они вызывали смех даже соседских кошек.

– Смотри, Гаукинс, смотри: чудо совершается. Я достигну своего.

– Конечно, Росмор, если у меня были какие-нибудь сомнения насчет материализации, то теперь они совсем рассеялись. О, какой счастливый день!

Трэси действительно переходил через улицу, захотев прочесть надпись на дверной доске. «Так вот где живет наш американский претендент», – сказал он себе, продолжая усмехаться.

– Он идет, идет прямо сюда! Я сойду вниз и отворю ему, а ты ступай за

мной.

Селлерс, бледный и взволнованный, столкнулся с Трэси лицом к лицу. В первую минуту голос изменил ему. Запинаясь, он выговорил несвязное приветствие и продолжал:

– Входите, входите смелей, мистер... Трэси... Говард... Трэси... Благодарю вас. Входите, вас ожидали.

Трэси вошел, удивленный и заинтересованный такой встречей.

– Ожидали? – повторил он. – Извините, тут должно быть какое-нибудь недоразумение.

– О, ровно никакого, – отвечал Селлерс, украдкой подмигивая Гаукинсу, который подоспел вслед за ним. Затем он произнес, понизив голос и делая ударение на каждом слове: «Я, вы знаете, кто...»

К изумлению обоих собеседников, эта фраза не произвела ожидаемого потрясающего действия, и посетитель отвечал самым невинным тоном, без всяких признаков смущения:

– Нет, извините, пожалуйста, я не знаю, кто вы. Я только могу с некоторой вероятностью предположить, что вы тот джентльмен, чье имя выставлено на дверной доске.

– Верно, совершенно верно. Прошу садиться. – Окончательно сбитый с толку, Росмор чувствовал, что у него голова идет кругом. Гаукинс стоял в сторонке, выпучив глаза на вошедшего, которого он считал выходцем с того света. При виде пораженного товарища у Росмора мелькнула новая идея.

– Тысяча извинений, дорогой сэр, – внезапно спохватившись, сказал он Трэси, – я совсем забыл требование вежливости по отношению к гостю и незнакомцу. Позвольте мне представить вам моего друга – генерала Гаукинса, нашего нового сенатора, делегата от замечательнейшей страны, только что присоединенной к лучезарной плеяде Соединенных Штатов. Мой друг – делегат от Чироки-Стрип. – «Уж наверно молодчик ошалевает при такой рекомендации», – мысленно прибавил он. Однако Трэси не моргнул глазом, а полковник, заметив, что его речь не произвела ожидаемого ошеломляющего эффекта, внезапно упал духом и договорил уже совсем изменившимся тоном: – Сенатор Гаукинс, мистер Говард Трэси из... из?..

– Англии.

– Из Англии? Но это невозмож...

– Да, оттуда; я англичанин родом.

– И недавно приехали?

– Совсем недавно.

«Однако привидение врет, как эксперт, – сказал сам себе полковник. –

Видно, людей такого закала не очистить и огнем. Надо пощупать его еще, дать ему случай выказать свой талант во всем блеске». И вслед за тем он прибавил вслух, голосом, полным глубочайшей иронии:

– Вот как! Вероятно, вам вздумалось посетить нашу великую страну ради отдыха и развлечения? Конечно, вы нашли путешествие по необозримым равнинам нашего дальнего Запада...

– Я вовсе не был на западе Америки и, смею вас уверить, не искал развлечений. Жизнь художника не забава, а, напротив, упорный труд, если он обязан зарабатывать свой хлеб.

«Художника! – мысленно повторил Гаукинс, вспоминая ограбленный банк. – Уж чего лучше такого художества!»

– А вы – художник? – спросил Селлерс, думая в то же время: «Теперь я тебя, голубчика, поймаю».

– Да, в очень скромном смысле.

– По какой отрасли? – допытывался ловкий ветеран.

– Я живописец; пишу масляными красками.

«Попался», – мысленно торжествовал полковник.

И он заговорил опять самым невинным тоном:

– Вот счастливая случайность! Могу я предложить вам заняться реставрацией некоторых из моих картин, заслуживающих внимания?

– С большим удовольствием. Покажите мне их.

Ни уверток, ни отговорок, ни замешательства.

Полковник терялся в недоумении. Он подвел Трэси к одной хромотолиграфии, пострадавшей в руках прежнего владельца, которому она заменяла подставку под лампу.

– Вот этот Дель-Сарто... – заговорил он, указывая на картину рукой.

– Будто бы это Дель-Сарто?

Хозяин бросил на гостя укоризненный взгляд и, помолчав немного, продолжал как ни в чем не бывало:

– Этот Дель-Сарто, пожалуй, единственный оригинал великого мастера во всей Америке. Вы понимаете, насколько бережно следует обращаться с таким сокровищем, а потому... я попросил бы вас показать мне сначала образец вашего умения, прежде чем...

– О, с удовольствием! Я сниму копию с одного из этих чудес искусства.

В гостиную были принесены водяные краски – воспоминание школьной жизни мисс Салли, – и хотя Трэси заявил, что рисует лучше масляными красками, но решил попробовать и акварель. Затем гостя оставили одного. Он принялся за работу, однако новизна места развлекала

его. Посетитель с любопытством осматривался вокруг, точно в заколдованном царстве, где все казалось ему таким необычайным.

ГЛАВА XIX

Тем временем граф Росмор и Гаукинс разговаривали между собою в отдельной комнате, смущенные и сбитые с толку случившимся.

– Что меня интригует, – сказал граф, – так это вопрос, где он достал себе другую руку?

– Да, и меня это удивляет также, – отвечал Вашингтон. – А потом еще странность: каким образом привидение оказалось англичанином? Что вы об этом думаете, полковник?

– Говоря по чести, Гаукинс, я поставлен в тупик. Все это до того необъяснимо, что невольно оторопь берет.

– Ну, как мы с вами по ошибке воскресили не того, кого нужно, а совсем другого?

– Другого? А как же костюм-то?

– Ну, костюм тот самый; нечего и сомневаться. По платью он. Однако что же нам делать? Арестовать его мы не можем. Ведь награда обещана за однорукого американца, а это англичанин с обеими руками.

– А, может быть, это пустяки? Ведь мы представим не меньше того, что требовалось, а даже больше, следовательно...

Но он увидал всю несостоятельность своего аргумента и запнулся. Приятели сидели некоторое время в тягостном раздумье. Наконец лицо графа засияло вдохновением, и он заговорил с большим чувством:

– Видно, материализация духов оказывается на поверку более великой и благородной наукой, чем мы осмеливались мечтать с тобою, Гаукинс. Мы сами не воображали, какое непостижимое, поразительное чудо совершилось нашими руками. Ключ к этой загадке найден мною в настоящую минуту. Весь секрет для меня ясен как день. Каждый человек создан из унаследованных им элементов, давно существовавших атомов и частиц своих предков. Наша настоящая материализация не полна. Мы довели ее, пожалуй, только до начала нынешнего столетия.

– Что вы хотите сказать этим, полковник? – вскричал Гаукинс в смутной боязни, вызванной таинственным тоном и странными словами старика.

– А вот что: мы материализовали предка этого мошенника.

– Ах, нет, не говорите, ради Бога, таких ужасных, отвратительных вещей.

– Но это верно, Гаукинс, – я знаю. Рассмотрим факты. Наш призрак –

англичанин, заметь это; он говорит совершенно правильно и литературно; он художник и, наконец, джентльмен по своим манерам и обращению. Где же твой ковбой? Ну-ка, скажи!

– Росмор, это ужасно, у меня волосы становятся дыбом!

– Очевидно, мошенник не воскрес, воскресло только его платье...

– Полковник, неужели вы в самом деле полагаете?..

Селлерс понизил голос и произнес с ударением:

– Я полагаю вот что: материализация удалась не вполне, она не созрела, мошенник от нас улизнул, а перед нами явился его предок, осужденный за грехи на том свете.

Он встал и начал прохаживаться по комнате в явном волнении.

– Этакая досадная неудача, – жалобно промолвил Гаукинс.

– Знаю, знаю, сенатор! Мне самому тошнее всех. Однако делать нечего, надо покориться судьбе в силу нравственных принципов. Мне нужны деньги, но, Бог свидетель, при всей своей бедности и убожестве я не согласен покарать предка однорукого Пита за преступление, совершенное его потомком.

– Полковник, – взмолился Гаукинс, – будьте осмотрительны, не поступайте опрометчиво; вспомните, что это единственное средство для нас обоих раздобыть деньжонок, и, кроме того, даже в Библии сказано, что потомство наказуется за грехи предков до четвертого колена, хотя бы оно было ни в чем невиновато; мы же обратим этот закон в другую сторону, применив его по восходящей линии.

Полковник был поражен несокрушимой логикой этих слов. Он бродил по комнате в мучительной нерешительности и наконец произнес:

– Твои доводы отчасти резонны, и хотя мне жаль подвергнуть каре этого когда-то жившего на земле беднягу за мошенничество, к которому он не причастен, но если того требует долг, то мы обязаны выдать его властям.

– Я непременно сделал бы это, – сказал Гаукинс, повеселев и оживившись, – я выдал бы его, если бы даже в нем одном сосредоточилась целая тысяча предков.

– Господи Боже, да ведь это так и есть, – подхватил Селлерс, причем у него вырвалось нечто вроде стоны, – он сохранил в себе частицу от каждого из них. В этом призраке вмещаются атомы священников, воинов, крестоносцев, поэтов и милых, очаровательных женщин – наследие людей всякого рода и сословий, какие только попирали землю в давным-давно прошедшее столетие и исчезли с нее целые века назад, а теперь мы своей магической силой вызвали их из состояния блаженного покоя, чтобы заставить отвечать за грабеж, совершенный в каком-то злополучном банке

на окраинах Чирокской равнины. О, какое это жестокое оскорбление!

– Не говорите так, полковник, прошу вас, у меня сердце переворачивается, мне стыдно подумать о том, что я предложил...

– Постой, я придумал штуку!

– Вы подаете мне надежду. Говорите скорее, я погибаю!

– О, это совершенно просто и могло бы прийти в голову ребенку. Материализация этого субъекта удалась вполне, в нем нет никакого изъяна, и, насколько я мог подвинуть дело, оно сделано хорошо. Теперь же, если мне посчастливилось довести материализацию до начала нынешнего столетия, что же остановит меня на дальнейшем пути? Следует только продолжать начатое, и тогда дойдешь до нынешнего времени.

– Черт возьми, вот о чем я не подумал! – воскликнул Гаукинс, опять просиявший от радости. – Да, вам следует поступить именно так; удивительные у вас мозги! А скажите, потеряет ли он руку?

– Потеряет.

– И свой английский акцент?

– От него не останется и следа. Призрак будет говорить на наречии Чироки-Стрип и других отдаленных провинций.

– Полковник, может быть, он сознается...

– Создается? Только в ограблении банка.

– Только? Да, но почему вы сказали только?

Полковник снова заговорил своим внушительным тоном:

– Гаукинс, он будет делать все, что я захочу. Я заставлю его сознаться во всех когда-либо совершенных им преступлениях. Их, должно быть, целая тысяча. Понял ты мою идею?

– Не совсем.

– Мы последовательно будем получать награды за розыск множества злодеев.

– Поразительно придумано! Никогда не встречал я такой головы, такой дальновидности, такого светлого взгляда, который разом обнимает все дальнейшие разветвления и вероятности основной идеи.

– О, это пустяки, это приходит ко мне само собою. Когда его время пройдет, призрак переселится из одной оболочки в другую, и эти переходы будут совершаться до последней стадии, а во время его превращений, пока он обратится в однорукого Пита, мы с тобой, благодаря ему, все будем получать награды. Этого источника нам хватит, Гаукинс, на всю жизнь, и материализованный человек послужит тем более выгодной статьей дохода, что он не может уничтожиться.

– Право, это выходит так, как вы говорите. Может быть, ваши слова и

подтвердятся.

– Подтвердятся? Да для них не требуется никакого подтверждения! Кажется, я приобрел достаточно обширную финансовую опытность и могу сказать, не колеблясь, что смотрю на воскрешенного нами духа, как на одно из самых ценных приобретений, какие мне только приходилось иметь в своем распоряжении.

– Неужели вы серьезно думаете таким образом?

– Ну, разумеется!

– О, полковник, как тяжело переносить бедность! Вот если бы мы могли немедленно реализовать наше новое имущество! Конечно, я не хотел бы уступить его целиком; но почему не продать некоторую часть!.. Одним словом, вы понимаете, что...

– Взгляни, как ты весь дрожишь от волнения! А все это – недостаток опытности. Если бы ты руководил серьезными операциями, как случилось мне, то был бы совершенно спокоен. Взгляни мне в лицо; расширены ли у меня зрачки! Замечаешь ли ты где-нибудь подергивание мускулов! Пощупай мой пульс – ток, ток, ток – он бьется так же медленно и ровно, как во время спокойного сна. А между тем что проносится теперь перед очами моего невозмутимого, холодного рассудка! Ряд таких ошеломляющих цифр, один вид которых опьянил бы новичка в финансовых делах. Но, только сохраняя свое хладнокровие, внимательно всматриваясь во все окружающее, человек может видеть то, что есть на самом деле, и уберечься от ошибки, в которую непременно впадает всякий новичок – вот как и мы сию минуту – от излишней поспешности в деле реализации. Послушай, что я тебе скажу. Тебе хочется продать часть материализованного духа за чистые деньги; я же смотрю на этот предмет с иной точки зрения.

– Никак не могу угадать, что у вас на уме.

– Держать его про запас, само собою разумеется!

– А мне это решительно не приходило в голову.

– Потому что ты не финансист. Положим, материализованный дух совершил тысячу преступлений, и это еще на худой конец. Судя по его виду, даже в несовершенном состоянии, он наделал, по крайней мере, миллион злодейств. Допустим, однако, что их всего тысяча, чтобы рассчитывать наверняка; пять тысяч награды, помноженные на тысячу, дают уж нам несомненный капитал во сколько? В пятьсот тысяч фунтов стерлингов!

– Постойте, дайте мне перевести дух.

– И эта собственность не может уничтожиться. Она будет постоянно

приносить доходы, потому что преступления не будут прекращаться, а мы будем получать награды за поимку преступника.

– Вы меня ослепляете, у меня голова идет кругом.

– Ну и пускай, в этом нет никакой беды. Теперь, когда дело налажено, нечего о нем больше толковать. Я составлю компанию и буду эксплуатировать эту статью дохода в надлежащее время. Предоставь уж мне позаботиться обо всем; надеюсь, ты не сомневаешься в моей способности извлечь из него как можно больше пользы?

– Конечно, не сомневаюсь, могу сказать по совести.

– Ну, значит ладно, дело в шляпе. Всему свой черед. Мы – люди опытные – придерживаемся во всем порядка и системы, а не кидаемся в разные стороны. Теперь, что же у нас стоит на очереди? Продолжение материализации, чтобы довести ее до настоящего времени. Вот за это я сейчас и примусь. Надо полагать...

– Послушайте, Росмор, ведь вы не заперли незнакомца; прозакладываю сто против одного, что он улизнул.

– Можешь быть покоен на этот счет. Нечего тебе тревожиться.

– А почему бы этому молодцу не удрать?

– Пускай удирает, коли есть охота! Что же из этого?

– Ну, я полагаю, тогда нам придется плохо.

– Нисколько, мой милый; однажды попав под мою власть, он уж больше не вырвется. И я предоставляю ему свободу уходить и приходить, когда ему вздумается. Я могу потребовать его к себе в любую минуту, потому что он зависит теперь от моей воли.

– Право, мне это очень приятно слышать.

– Да, я предоставлю ему рисовать, сколько душе угодно, и мы все постараемся, чтобы ему было как можно приятнее в нашем доме. Зачем стеснять свободу его действий? Я надеюсь уговорить материализованного, чтобы он вел себя пристойно, хотя призрак в недостаточной степени развития по необходимости должен быть безвредным, воздушным, бестелесным; но вот что мне интересно было бы узнать: откуда он явился?

– Как, что вы хотите этим сказать?

Граф многозначительно и с вопрошающим видом показал на небо. Гаукинс вздрогнул, потом погрузился в глубокое раздумье и, наконец, печально покачал головой, указывая вниз.

– Что заставляет тебя думать таким образом, Вашингтон?

– Не знаю хорошенько, но вы сами видите, что он умолчал о том, где находился в последнее время.

– Верно, твой вывод правилен. Мы не стали о том допытываться, но я

надеюсь узнать от него всю правду и убедиться, что мы не ошиблись.

– А сколько потребуется времени, полковник, чтобы закончить процесс материализации, дойдя до оживления современных людей?

– Ну, этого я и сам не знаю. Последняя подробность ставит меня еще в тупик, – то есть непредвиденная необходимость постепенно перерабатывать материализованного субъекта из его предка в современную нам личность. Впрочем, во всяком случае я постараюсь ускорить его превращение.

– Росмор!

– Да, мой милый. Теперь мы в лаборатории, но пойдем со мною и помни, Гаукинс, что для всей остальной семьи этот призрак должен быть обыкновенным человеческим существом. Вот идет моя жена.

– Сидите, пожалуйста, – сказала миледи, заглядывая в комнату, – не беспокойтесь; мне некогда к вам заходить; я только хотела узнать, кто у нас рисует внизу.

– Кто?.. О, это один молодой художник, англичанин, по имени Трэси, любимый ученик Ганса-Христиана Андерсена или какого-то из старинных мастеров; да, действительно, кажется, Андерсена. Он взялся реставрировать наши старые картины итальянской школы. Ты с ним говорила?

– Только одно слово. Я вошла в комнату, не ожидая увидеть там постороннего, и, желая оказать любезность гостю, предложила ему чего-нибудь закусить. (Селлерс украдкой многозначительно кивнул Гаукинсу.) Однако он отказался, говоря, что не голоден (другой саркастический кивок); тогда я принесла несколько яблок (двойной кивок), и он скушал парочку.

– Что такое! – полковник подскочил на несколько ярдов к потолку и, опустившись вниз, крикнул от изумления.

Леди Росмор онемела, она переводила изумленный взгляд с ошипанного делегата Чирокской равнины на мужа и потом опять обратно, не зная, что подумать.

– Что такое с тобой, Мельберри? – вымолвила наконец хозяйка.

Муж не сразу ответил; он стоял к ней спиной, наклонившись над стулом и ощупывая сиденье. Помедлив немного, он, однако же, сказал:

– А, вот в чем дело: тут был гвоздик.

Миледи посмотрела на него с сомнением одну минуту и заметила довольно насмешливым тоном:

– И все это из-за гвоздика! Хорошо, что тут был не настоящий гвоздь, а то ты залетел бы на Млечный путь. Терпеть не могу, когда меня пугают

таким образом! – С этими словами она повернулась и ушла.

Оставшись наедине с Вашингтоном, полковник сказал, понизив голос:

– Пойдем, мы должны убедиться сами, правда ли это. Мне что-то не верится.

Они потихоньку сбежали вниз и заглянули в гостиную.

– Он ест, он ест! Какое ужасающее зрелище! Гаукинс, мне страшно; уведи меня отсюда, меня мороз продирает по коже.

ГЛАВА XX

Работа Трэси медленно подвигалась вперед, потому что он думал совсем о другом. Много вещей казались ему загадкой в этом доме. Наконец он остановился на мысли, что странный субъект, оказавшийся претендентом на титул его отца, был просто слегка помешан. Иначе как объяснить такую массу несообразностей: отчаянные хромофотографии, которые он принимает за картины старинных мастеров, уродливые портреты, представляющие, по его мнению, Росморов, траурные гербы и громкое имя, данное им жалкой лачуге, – «Росмор-Тоуэрс». Но более всего поразило Трэси ни с чем не сообразное заявление хозяина, что его здесь ожидали. Как могли ожидать здесь лорда Берклея? Селлерс должен был знать из газет, что молодой виконт погиб во время пожара в гостинице «Нью-Гэдсби».

«Черт побери, он и сам не знает, кого ждал; из его слов было видно, что его удивило мое английское происхождение, а также и то, что я художник. Впрочем, он как будто остался доволен мною; да, бедный старик действительно немного рехнулся, а пожалуй, он и совсем сумасшедший. Впрочем, все-таки довольно интересный субъект; все помешанные – непременно курьезные люди. Надеюсь, что ему понравится работа. Я же охотно буду приходить сюда каждый день, чтобы изучать его. И в письме к отцу... впрочем, нет, зачем я обращаюсь к этому предмету? Лучше не думать о нем, чтобы не унывать.

Вот кто-то идет, надо приняться за рисование. Опять старик-хозяин; он, кажется, расстроен; уж не внушает ли ему неприятных подозрений мое платье? Действительно, оно довольно странно – для художника, и если бы совесть позволяла мне переменить его... однако об этом нечего толковать. Мне странно, зачем Селлерс делает в воздухе пассы руками. Они как будто относятся ко мне; неужели он пытается магнетизировать меня? Это мне не по душе, тут что-то неладно».



А полковник тем временем бормотал про себя: «Я, очевидно, подействовал на него. Однако на этот раз довольно; он, кажется, не очень крепок, и я могу заставить его расплыться в ничто. Теперь можно предложить ему один или два вопроса с целью выведать, что он такое и откуда».

Селлерс подошел к гостю и заговорил с ним любезным тоном:

– Я не стану мешать вам, мистер Трэси; мне хочется только взглянуть на вашу работу. Ах, как вы прекрасно рисуете! Как изящно у вас ложатся краски! Моя дочь будет в восторге. Вы позволите мне присесть к вашему столу?

– Конечно; сделайте одолжение.

– Но я не помешаю вам, не рассею вашего вдохновения?

Трэси засмеялся и сказал, что его вдохновение не так воздушно, чтобы его было легко рассеять.

Полковник предложил несколько осторожных и обдуманных вопросов, которые показались Трэси дикими; впрочем, он отвечал на них обстоятельно, после чего Селлерс самодовольно подумал про себя:

«Однако дело не так плохо, как я полагал; он крепок, крепок и не рассыплется, тверд, как настоящий реальный предмет; это поразительное чудо! А я-то воображал, что я могу развеять его в прах!» После некоторой паузы он осторожно спросил:

– Ну, а где вам больше нравится: здесь или... или там?

– Там? Где там?

– Ну, откуда вы пришли.

Трэси вспомнил свою гостиницу и решительно отвечал:

– О, конечно, здесь гораздо лучше!

Полковник вздрогнул и сказал сам себе: «Он говорит без всяких колебаний. Это служит достаточным указанием на то, где он находился, бедняга. Ну, тем лучше, я рад, что извлек его из преисподней». Он долго сидел, погруженный в задумчивость, следя за кистью художника, и сделал опять мысленное замечание: «Да, теперь мне жаль, что я не похлопотал о материализации бедного Берклея. Пожалуй, его слова намекают на это; впрочем, дело еще поправимо».

Тем временем в комнату вошла Салли Селлерс; она только что вернулась домой и была восхитительнее обыкновенного; отец тотчас представил ей художника. Этот момент решил судьбу обоих молодых людей: они полюбили друг друга с первого взгляда, хотя ни один из них не догадывался о том. Трэси ни с того, ни с сего сделал совсем нелогичное мысленное замечание: «А может быть, этот старик вовсе не сумасшедший?» Салли присела тут же и задала несколько вопросов насчет работы гостя, что ему очень понравилось и немедленно расположило его в пользу девушки. Между тем Селлерс спешил поделиться своим открытием с Гаукинсом и вышел из комнаты, сказав, что если двое «юных поклонников музыки красок» могут обойтись без него, то он займется своими делами, причем художник сказал сам себе: «Я думаю, что этот почтенный джентльмен немного эксцентричен, вот и все». Он упрекал себя за необдуманное суждение о нем, которое казалось ему теперь слишком резким.

Само собою разумеется, что незнакомец вскоре забыл всякую неловкость и принялся непринужденно разговаривать с прелестной Салли. Американская девушка среднего разбора отличается, как известно, безыскусственностью и безобидной прямоотой; она правдива, далека от светских тонкостей и уловок кокетства; вот почему в ее присутствии чувствуешь себя свободно и незаметно сходишься с ней на короткую ногу. То же самое произошло и в настоящем случае; в какие-нибудь полчаса Трэси и Гвендолен, ничего не подозревая, сделались друзьями. Этот

странный сам по себе факт подтверждался уже тем, что обе стороны забыли о неуместности костюма молодого англичанина; затем, когда они вспомнили об этом обстоятельстве, Гвендолен сделалось ясно, что она примирилась с одеянием ковбоя, тогда как бедному Трэси оно стало еще ненавистнее. Поводом к тому послужило приглашение Гвендолен, чтобы художник остался у них отобедать. Он отклонил эту честь, потому что хотел жить, – теперь, когда ему было для чего жить, – а появиться в такой одежде за столом джентльмена было бы убийственно, и ему казалось, будто бы она понимает, что это непереживаемый конфуз для благовоспитанного человека. Но он ушел счастливый, отлично заметив, как раздосадована Гвендолен его отказом.



Куда же направился от Селлерсов мнимый реставратор пресловутых картин? Прямо в магазин готового платья, чтобы запастись приличной парой, в какой англичанину не стыдно показаться в порядочном обществе. Примеряя ее, он успокаивал свою совесть следующими словами: «Я знаю,

что поступаю дурно; однако и оставаться в платье ковбоя тоже нехорошо, а ведь из двух дурных поступков не выйдет одного хорошего». Такой вывод удовлетворил его и облегчил ему сердце. Пожалуй, и читатель отнесется снисходительно к моему герою, приняв во внимание основную причину его действий.

За столом Гвендолен поражала стариков своей рассеянностью и молчаливостью. При большей наблюдательности они могли бы заметить, что она оживлялась, когда речь заходила о художнике и его работе; но они не заметили этого, и разговор перешел на другой предмет, а Гвендолен впала в прежнюю апатию. Мать с отцом и Гаукинс поочередно спрашивали ее, не больна ли она и нет ли у нее каких-нибудь неудач по части ее работы.

Миссис Селлерс предлагала ей разные испытанные средства и укрепляющие лекарства, в состав которых входит железо; отец хотел послать за вином, несмотря на то, что стоял во главе общества трезвости на своем участке. Но дочь решительным тоном, хотя и с благодарностью, отклонила их услуги. Когда все семейство отправилось спать, молодая девушка тихонько спрятала одну из кистей живописца, говоря самой себе: «Этой кистью он работал больше всего».

На другое утро мистер Трэси ушел из дома в новом платье с гвоздикой в петлице – ежедневное приношение Киски. Вся его душа была полна Гвендолен Селлерс, что придавало вдохновение его работе. Целое утро кисть художника скользила по полотну с удивительным прилежанием, но как-то бессознательно, и эта бессознательность творила чудеса в смысле декоративных аксессуаров к портретам. Бессознательное творчество, хотя и опровергается авторитетами, но несомненно существует. Ветераны фирмы не могли надивиться искусству своего сотрудника и осыпали его похвалами.

Между тем Гвендолен потеряла все утро в праздности и лишилась по этой причине нескольких долларов. Она думала, что Трэси придет до полудня, хотя никто не говорил ей о том. Молодая девушка то и дело спускалась из своей мастерской в гостиную, чтобы перекладывать с места на место кисти и другие предметы рисования, поджидая прихода живописца; когда же она сидела у себя в комнате, то работа валилась у нее из рук.

В последнее время Салли пользовалась своими редкими минутами досуга для того, чтобы смастерить себе особенно изящное платье, и в то утро как раз принялась за него. Но ее мысли блуждали где-то далеко, и хорошенький туалет был совсем испорчен. Увидев, что она натворила, Гвендолен поняла причину неудачи; отложила в сторону шитье и

задумалась. Она не уходила больше из гостиной, решившись подождать интересного человека. Подали завтрак; его все не было. Прошел еще целый час. Наконец ее сердце запрыгало от радости – она увидела Трэси в окно. Веселая и радостная, порхнула Салли обратно к себе в комнату, где едва могла дождаться, когда он заметил исчезновение самой нужной для него кисти. Она, будто бы нечаянно, спрятала ее внизу так ловко, что никто другой не мог найти этой вещи.

Все случилось, как было подстроено ею; живописец обращался то к тому, то к другому с просьбой отыскать его кисть, и тогда Гвендолен вызвалась помочь горю, принявшись за поиски с самым серьезным видом. Пропажа нашлась, когда все остальные вышли из комнаты, продолжая напрасные поиски в кухне, заглядывая даже в погреб, в дровяной чулан и во все другие места, где обыкновенно ищут вещь, которая словно провалилась сквозь землю.

Гвендолен подала художнику кисть, извиняясь в своей неаккуратности. Ей следовало раньше посмотреть, все ли для него готово, но она не думала, что он придет так рано. Однако девушка запнулась, сама удивляясь тому, что она говорит. Трэси между тем сконфузился, думая про себя. «Во всем виновато мое нетерпение. Зачем было торопиться с приходом сюда? Теперь она все поняла; она видит меня насквозь и, конечно, внутренне смеется надо мною».

Гвендолен была сегодня очень довольна одним обстоятельством, но раздосадована другим; ей было приятно видеть гостя в более приличном платье, которое выставляло его наружность с выгодной стороны, только гвоздика в петлице смутно тревожила ее. Вчера она не обратила внимания на цветок, сегодня же эта подробность туалета бросилась ей в глаза. Девушка хотела отвлечь свои мысли в другую сторону, хотела забыть об этих пустяках и не могла. Ее беспокоил вопрос: откуда взялась эта гвоздика? Наконец она не вытерпела и заметила:

– Счастливые мужчины: им позволено носить в петлице яркие цветы, несмотря на возраст. Кажется, это привилегия вашего пола?

– Право, не знаю. Я никогда не думал о том до сих пор, но, вероятно, такая мода имеет свое основание.

– Вы, кажется, очень любите гвоздики? Что же вам в ней нравится: форма или цвет?

– Ни то, ни другое, – простодушно отвечал он. – Мне просто дали эти цветы; а я, кажется, люблю их все одинаково.

«Ему дали эти цветы, – подумала Гвендолен и вдруг почувствовала ненависть к гвоздикам. – Интересно было знать, от кого он их получил». И

невинный цветок начал разрастаться перед ее глазами до чудовищных размеров, заслоняя все остальное. Она видела его перед собою, куда бы ни обращалась; он назойливо торчал перед ней, заставляя бледнеть все остальные предметы; это становилось несносным и подозрительным по отношению к такой мизерной вещи. «Хотелось бы мне знать, любит ли он ту, которая подносит ему цветы», – эта мысль внезапно вонзилась, как ядовитое жало, в сердце мисс Селлерс.

ГЛАВА XXI

Она устроила для живописца все, что было нужно, и, не имея больше предлога оставаться в гостиной, сказала, что идет к себе, а перед уходом напомнила гостю, чтобы он без церемонии позвал прислугу в случае, если ему что-нибудь понадобится. Гвендолен ушла, чувствуя себя несчастной, не сознавая, что оставляет внизу несчастного человека, потому что с ней уходит от него весь солнечный свет.

Время потянулось для них обоих невыносимо скучно. Трэси не мог рисовать, так как думал о ней, а у Гвендолен также ничего не спорилось; все ее помыслы были заняты им. Никогда еще живопись не казалась ему таким пустым занятием; никогда шитье не надоедало так молодой девушке. Она удалилась из гостиной, не повторив своего вчерашнего приглашения отобедать у них, и Трэси стало невыносимо досадно.

Гвендолен тоже страдала, со своей стороны, понимая, что не может пригласить его. Вчера это вышло как-то само собой, но сегодня сделалось невозможным, точно тысячи невинных привилегий были почему-то отняты у нее в последние двадцать четыре часа. Сегодня молодая девушка чувствовала себя связанной по рукам и ногам, лишенная обычной свободы. Только что ей приходило в голову сделать или сказать что-нибудь, касавшееся нового знакомого, как ее действия парализовались опасением, что он может «догадаться». Пригласить его сегодня к обеду? Ни за что! Одна мысль о том бросала ее в дрожь. Итак, все послеполуденное время прошло у нее в томительной тоске, прерывавшейся только на недолгие промежутки.

Три раза спускалась Салли вниз то за тем, то за другим, уверяя себя, что ей, действительно, нужно туда идти, хотя она могла бы преспокойно сидеть в своей комнате. Шесть раз взглянула девушка мимоходом на Трэси, делая вид, будто бы вовсе не смотрит в его сторону. И всякий раз она старалась всеми силами скрыть овладевший ею прилив восторга, который пронизывал ее, как электрический ток, но блаженное чувство рвалось наружу, и она сознавала, что пересаливает в своем напускном равнодушии, что под ее искусственной холодностью слишком явно сказывается подавленная истерическая порывистость. Живописец переживал не менее восхитительные минуты. Он тоже шесть раз мельком взглянул на Гвендолен, и ее вид всякий раз обдавал его волнами блаженства, которые, поднимаясь все выше, захлестывали его, ласкали, нежили, перекачивались

ему через голову и смывали всякое сознание того, что он делает своею кистью. Не мудрено, что на его рисунке оказалось шесть мест, которые пришлось переделывать. Наконец Гвендолен немного успокоилась, послав Томпсонам – своим знакомым, жившим по соседству, – записку с уведомлением, что придет к ним обедать. Она была не в силах сидеть сегодня за своим столом, где не будет того, кого ей так хотелось бы видеть возле себя.

Тем временем старый граф спустился в гостиную поболтать с художником и пригласил его отобедать с ними. Трэси сверхъестественным усилием воли скрыл свою бурную радость и благодарность при этом приглашении. Теперь, когда он мог надеяться провести возле Гвендолен несколько драгоценных часов, слышать ее голос, любоваться ее красотой, молодому человеку представилось, будто бы земля не может дать ему ничего более. Что же касается графа, то он думал про себя: «Этот призрак может есть яблоки. Посмотрим, ограничится ли он этим. Я полагаю, что яблоки – исключительная пища духов; вероятно, они обозначают границу между вещественным и невещественным миром, что подтверждается историей с нашими прародителями. Впрочем, нет, я ошибаюсь. Яблоки действительно обозначали в данном случае роковую границу, только в ином направлении». Заметив новое платье у живописца, Росмор почувствовал прилив удовольствия и гордости. «Вот мне и удалось уже преобразить его отчасти», – решил он.

Хозяин выразил одобрение работе Трэси и, разговорившись, предложил художнику реставрировать своих старинных мастеров, обещая вслед за тем заказать свой собственный портрет, портрет жены, а, может быть, также и дочери. Молодой человек не помнил себя от радости; счастье так и валило ему. Они оживленно разговаривали, пока Трэси рисовал, а Селлерс тщательно распаковывал принесенную с собой картину: то была совсем новая, только что отпечатанная хромофотография. Она изображала приторно улыбавшееся, самодовольное лицо господина, наводнявшего союз объявлениями, в которых почтеннейшую публику приглашали выписать что-нибудь из его товаров; за три фунта стерлингов у него можно было приобрести, по желанию, обувь, пару платья или что-нибудь в этом роде. Старый джентльмен расправил хромофотографию у себя на коленях и, нежно поглядывая на нее, сделался тих и задумчив. Вдруг Трэси заметил, что у него из глаз каплют на картину слезы. Это сильно растрогало чувствительного живописца, и ему стало неловко при мысли, что он сделался невольным свидетелем чужого тайного горя. Однако жалость победила в нем остальные соображения, и он вздумал утешить старика

словами дружеского участия.

– Весьма сожалею... – начал Трэси, – вероятно, это ваш умерший друг?..

– Более чем друг, несравненно более! Это самый дорогой родственник, какого я имел на земле, хотя мы не были знакомы лично. Это портрет молодого лорда Берклея, погибшего такой геройской смертью во время пожа... Боже мой! Что такое с вами?

– Ничего, ровно ничего! Я только был поражен, внезапно увидав портрет личности, о которой столько слышал. А что, он здесь похож?

– Чрезвычайно; я никогда не видал его, но вы можете в том убедиться по сходству виконта с отцом, – сказал Селлерс, поднимая хромолитографию и посматривая то на нее, то на мнимый портрет узурпатора Росмора.

– Ну, а по-моему, тут нет никакого сходства; у старого лорда такая характерная физиономия и длинное лошадиное лицо, тогда как его наследник круглолицый и, очевидно, совершенно заурядный человек. Взгляните, как он приторно улыбается.

– Мы все, Росморы, бываем такие в молодости, – возразил, несколько не смущаясь, Селлерс. – В юные годы у нас круглые лица, точно полная луна, а затем с годами они вытягиваются в лошадиные физиономии, становясь в то же время чудом ума и характера. Вот по этим-то признакам и подтверждается сходство на обоих портретах; иначе я мог бы усомниться, что они настоящие. Да, во всем нашем роде молодые люди отличаются сумасбродством.

– Значит, этот молодой человек унаследовал родовые черты?

– Да, он, без сомнения, был сумасбродом. Всмотритесь в его лицо, заметьте эту форму головы и общее выражение: ни дать ни взять, совершеннейший сумасброд.

– Очень вам благодарен, – невольно вырвалось у Трэси.

– Как? За что?

– За то, что вы мне объяснили это. Продолжайте, пожалуйста!

– Да, вот я говорил сейчас, что сумасбродство запечатлелось у него на лице. На нем можно прочесть даже особенности характера виконта.

– Ну, и как же вы определите, что он за человек?

– А это, изволите видеть, переметная сума.

– Что такое?

– Переметная сума. Это, понимаете ли, такая личность, которая остановится на чем-нибудь одном и воображает себя каким-то Гибралтаром, воплощением непоколебимой твердости и постоянства, а

потом, немного погодя, начнет вилить. Гибралтар куда-то исчезает, и остается самое заурядное ничтожество, готовое повернуться, куда подует ветер. Вот таков был и лорд Берклей; всмотритесь хорошенько в этого барана. Но... что такое с вами, однако? Вы вспыхнули и заалели, словно заходящее солнце. Дорогой сэр, не оскорбил ли я вас как-нибудь нечаянно?

– О, нет, нисколько. Но я всегда краснею, когда слышу, если кто-нибудь осуждает своих кровных родственников. – И он прибавил мысленно: «Как странно, что его дикая фантазия совпала с истиной. Совершенно случайно он описал мой характер. Я как раз такой жалкий человек. Покидая Англию, я был уверен, что знаю самого себя, воображал, что не уступлю в решимости самому Фридриху Великому, а на деле оказался переметной сумой. Во всяком случае, человеку делает честь, если он поклоняется высоким идеалам и стремится к благородным целям; эту роскошь я могу себе позволить». И он прибавил вслух:

– Ну, а как вам кажется, мог ли этот баран, как вы его называете, преследовать великую, требующую самоотвержения, идею? Могли он замышлять хоть, например, такую вещь, как добровольное отречение от своего громкого титула, богатства, знатности, с тем, чтобы поставить себя наряду с обыкновенными смертными и возвыситься над другими благодаря одним собственным заслугам или, в случае неудачи, остаться безвестным бедняком?

– Способен ли он был на это, спрашиваете вы? Да взгляните на него, на эту глуповатую улыбающуюся морду, и вы прочтаете на ней ответ на свой вопрос. Да, он как раз был способен на такие великодушные порывы и, движимый добрыми намерениями, пожалуй, принялся бы за дело.

– А потом?

– А потом бы спасовал.

– И раскаялся?

– Всякий раз. При каждой новой неудаче.

– И неужели так было бы со всеми моими... Я хочу сказать: со всеми его благими начинаниями?

– Разумеется; таков уж характер Росморов.

– Значит, он хорошо сделал, что умер. Вот предположим, что я был бы одним из Росморов, и вдруг...

– Ну, это невозможно!

– Почему?

– Потому, что этого нельзя предположить. Будучи Росморов, в вашем возрасте вы были бы сумасбродом, а это на вас не похоже. Да и переметной сумой уж вас никак нельзя назвать. Кто умеет читать людские характеры в

чертах лица, тот с первого взгляда признает вас человеком стойким, которого не способно поколебать даже землетрясение. – Селлерс прибавил про себя: «Ну, я высказал ему достаточно, хотя мои слова ничто в сравнении с действительностью, судя по фактам. Чем дольше я на него смотрю, тем замечательнее он мне кажется. Это самое характерное лицо, в которое я когда-либо всматривался. В нем какая-то сверхъестественная твердость, что-то непоколебимое – железная сила воли. Удивительный молодой человек!»

И он заговорил опять:

– А знаете, мистер Трэси, я хотел бы посоветоваться с вами об одном деле. Видите ли, мне доставили прах молодого лорда... Господи, как вы подскочили!

– О, это ничего. Продолжайте, прошу вас. Итак, вы получили его останки?

– Да.

– Но вы уверены, что это его прах, а не чей-нибудь чужой?

– Совершенно уверен. Впрочем, это лишь частица его праха, а не весь он.

– Частица?

– Да, мы сложили его в корзинки. Может быть, вы со временем отправитесь домой. Почему бы вам не взять с собой этот пепел?

– Как, мне?

– Ну, да. Конечно, не теперь, а некоторое время спустя, после того как... Но не хотите ли вы на них взглянуть?

– С какой стати? Вовсе не желаю.

– Ну, как знаете... я только думал... О, куда это ты собралась, моя дорогая? – неожиданно перебил он самого себя, увидав вошедшую дочь.

– Я иду обедать в гости, папа.

Трэси обомлел, а полковник заметил с сожалением:

– Какая досада! Ведь я, право, не знал, что моя дочь приглашена, мистер Трэси. – Гвендолен изменилась в лице, которое приняло почти жалобное выражение. «Что я наделала!» – подумала она.

– Трое стариков и один молодой, ну, это плохая компания, – продолжал хозяин. Черты Гвендолен начали проясняться, и она сказала с притворным неудовольствием:

– Если желаете, папа, я могу извиниться перед Томпсонами.

– А, ты идешь к Томпсонам? Ну, это другое дело. Можно устроить так, чтобы не лишать тебя удовольствия, дитя мое, если уж ты собралась.

– Но, папа, я могу отправиться туда в другой раз...

– Нет, милочка, ступай себе с Богом. Ты у меня такая добрая дочь, такая труженица, и твой отец не хочет огорчать тебя понапрасну, когда ты...

– Но, право же, я...

– Ступай, ступай, я не хочу ничего слышать; мы обойдемся и без тебя, мой ангел.

Гвендолен чуть не заплакала с досады, однако ей не оставалось ничего более, как идти, и она уже стала прощаться, но вдруг ее отец напал на новую идею, которая привела его в восторг, потому что устраняла всякие затруднения.

– Вот что я придумал, моя голубка, – воскликнул он. – Ты не лишишься удовольствия, да и мы не останемся в накладе. Пришли к нам сюда Беллу Томпсон. Очаровательное создание, Трэси, восхитительное! Я ужасно хочу, чтобы вы познакомились с этой девушкой, вы просто с ума сойдете, когда увидите ее. Так пришли же свою подругу, Гвендолен, и скажи ей... Как, она уж упорхнула?! – Он подбежал к окну – дочь выходила в это время из ворот. – Не понимаю, что с ней такое сделалось, – пробормотал старик, – лица ее мне не видно, но плечи у нее, кажется, вздрагивают.

– Знаете, – весело обратился Селлерс к Трэси, – мне будет скучно без нее, – родители всегда тоскуют о детях, когда не видят их; это естественно и мудро устроенное пристрастие. Но вы сами ничего не потеряете, так как мисс Белла с успехом заменит недостающий юношеский элемент за столом. А мы, старики, постараемся занять вас, в свою очередь. Вот никому и не будет скучно. По крайней мере, вы будете иметь случай ближе познакомиться с адмиралом Гаукинсом. Это редкий характер, мистер Трэси, один из самых редчайших и самых располагающих к себе характеров, какие только существуют на свете. Вы найдете его достойным изучения. Я изучаю его с тех пор, как он был ребенком, и нахожу, что Гаукинс все еще продолжает развиваться. И что главным образом помогло мне овладеть наукой чтения человеческого характера по чертам лица, так это то, что я всегда сильно интересовался моим другом Гаукинсом, вникал в его поступки, поразительные по своей неожиданности, следил за ходом идей этого оригинального человека.

Трэси не слышал ни слова из этих восхвалений. Его веселость исчезла; он был в отчаянии.

– Да, это самый удивительный характер, – не унимался между тем старик. – Скрытность – его основная черта. Первым долгом старайтесь всегда найти фундамент человеческого характера, и тогда он будет весь перед вами. Вы не рискуете ошибиться и попасть впросак, судя о нем по

некоторым странностям данного субъекта, по некоторым особенностям, которые могут показаться с виду несообразными. Например, что читаете вы на лице нашего сенатора? На нем написана простота, несомненная, бросающаяся в глаза простота; на самом же деле это один из глубочайших умов, какой только можно встретить. Гаукинс неподкупно честный человек, честный и почтенный во всех отношениях, но вместе с тем он не имеет себе равного в искусстве притворяться.

– О, это какая-то дьявольщина! – внезапно вырвалось у Трэси, всецело поглощенного досадой по поводу отсутствия Гвендолен.

– Ну, я не скажу этого, – хладнокровно возразил Селлерс, который теперь преспокойно прохаживался взад и вперед, заложив руки за спину под фалды сюртука и слушая свою собственную речь. – Эту способность можно было бы назвать дьявольской в другом человеке, но не в сенаторе. Ваш термин правилен, совершенно правилен, я подтверждаю это, но применение его ошибочно. Да, у него поразительный характер. Я не думаю, чтобы другой государственный муж соединял в себе когда-либо такой колоссальный юмор с необыкновенной способностью совершенно скрывать его. Исключением в данном случае могут служить разве только Джордж Вашингтон и Кромвель, да еще, пожалуй, Робеспьер; но далее я провожу черту. Человек неопытный может прожить хоть целый век в обществе почтенного Гаукнса и быть уверенным, что в нем не больше юмора, чем на кладбище.



Глубокий, бесконечный вздох в целый ярд длиной послышался оттуда, где сидел рассеянный художник, погруженный в неприятное раздумье. – Несчастный, о, несчастный! – пробормотал он вслед за тем.

– Почему же несчастный? – невозмутимо отозвался Селлерс. – Я не скажу этого. Напротив, надо удивляться умению Гаукинса скрывать свой юмор, еще более, чем самому этому дару при всей его замечательности. Кроме того, генерал Гаукинс мыслитель – проникательный, логический, глубокий мыслитель, поражающий силой своего анализа, – пожалуй, самый способный в этом направлении человек новейшей эпохи. Конечно, он проявляет свой талант в сфере предметов, достойных его ума, каковы, например: ледниковый период, соотношение сил, развитие идеи христианства из его зачаточной формы или что-нибудь в этом роде. Дайте ему тему, соответствующую складу его мыслей, а потом отойдите в сторону и наблюдайте за ним. Вам представится, что земля колеблется у вас под ногами. Да, вам следует познакомиться с ним поближе, вы должны заглянуть в его внутренний мир. Пожалуй, это самый необыкновенный ум со времен Аристотеля.

Обед был немного отложен в ожидании прихода мисс Томпсон, но Гвендолен не думала передавать ей приглашения отца, и девушка, разумеется, не явилась. Пришлось сесть за стол без нее. Бедный старик Селлерс пустил в ход решительно все, что только могло изобрести его гостеприимство, чтобы молодому художнику не было скучно, а тот в свою очередь добросовестно старался быть веселым и разговорчивым в угоду радушному хозяину; всем хотелось оживить общую беседу, но напрасно. Сердце Трэси было точно налито свинцом; он как будто не видел ничего в комнате, кроме пустого стула Гвендолен; он не мог отвлечь своих мыслей от нее и своей неудачи. Рассеянность гостя порождала неловкие паузы, которые страшно затягивались, когда наступала его очередь сказать что-нибудь. Конечно, это отозвалось на общем настроении, и вместо бойкого разговора, который увлекает собеседников, как быстрый ход судна под парусами по сверкающим на солнце волнам, компания зевала, не видя конца непроходимой скуки. Что бы это значило? Только один Трэси мог ответить на этот вопрос; остальные же не пускались даже и в догадки.

В доме Томпсонов дело шло не лучше. Гвендолен сердилась на себя, что не может скрыть своей досады; ей было стыдно своего малодушия, но это не помогало горю; необъяснимая мучительная тоска томила ее, и никаким усилием воли не могла она стряхнуть своего тягостного уныния. Пришлось объяснить свое дурное расположение духа легким нездоровьем, и все поверили тому. Гвендолен жалели, выказывали ей участие, но и это не

приносило никакой пользы. В подобных случаях ничто не в силах поправить беды. Лучше всего встать и уйти. Только что кончился обед, как молодая девушка извинилась и побежала домой, обрадовавшись, что может уйти из гостей.

«Неужели я его уже не застаю?» Эта мысль, возникшая в мозгу Гвендолен, отозвалась у нее в пятках и пришпоривала ее всю дорогу. Она незаметно проскользнула в свой дом, сбросила с себя верхнее платье и кинулась прямо в столовую. Впрочем, у дверей девушка остановилась, чтобы прислушаться. Голос ее отца – вялый и без малейшего оживления; потом голос матери – нисколько не лучше; довольно продолжительная пауза, и какое-то пустое замечание со стороны Вашингтона Гаукинса. Опять все примолкли, и снова заговорил ее отец, а не Трэси.

«Он ушел», – в отчаянии сказала себе Гвендолен, порывисто отворила дверь и окаменела на пороге.

– Что с тобою, дитя!? – воскликнула испуганная миссис Селлерс. – Как ты бледна! Уж не случилось ли чего-нибудь?

– Бледна? – перебил полковник. – О, это было на одну минуту, а теперь наша Гвендолен заалела, как мякоть арбуза. Садись, моя дорогая, садись; ты пришла очень кстати. Ну, рассказывай, весело ли было у Томпсонов? А мы тут отлично проводили время. Почему не пришла мисс Белла? Мистер Трэси чувствует себя не особенно хорошо, и она заставила бы его забыть о том.

Гвендолен была совершенно довольна, и ее глаза, сиявшие счастьем, передали одну восхитительную тайну другой паре глаз, которые также ответили им страстным признанием. Все это случилось в самую ничтожную долю секунды, но молодые люди отлично поняли друг друга. Всякая тревога, тоска, беспокойство тотчас исчезли в их сердцах, и оба они почувствовали глубокое успокоение.

Селлерс был непоколебимо убежден, что при новом подкреплении победа будет вырвана в последний момент из пасти неудачи; но он ошибся. Беседа по-прежнему не клеилась. Он гордился Гвендолен и хотел выказать ее достоинства перед гостем в самом выгодном свете, так, чтобы она затмила собой даже мисс Беллу Томпсон; к этому представляется теперь такой удобный случай; а между тем как держала себя его дочь? Она решительно не оправдывала надежд отца, и он бесился при мысли, что этот англичанин, по привычке всех британских путешественников обобщать понятия о целых горных кряжах, судя по одной песчинке, придет, пожалуй, к выводу, что американские девушки немые, как рыбы, и составит ошибочное мнение обо всех юных представительницах Америки по этому

неудачному образцу. А Гвендолен, как нарочно, молчала, будто не умея открыть рта, точно за столом не было ничего, что могло бы вдохновить ее, заставить разговариваться. И старик давал себе слово, ради чести нации, в скором времени опять свести их обоих вместе на почве общественности.

«В другой раз дело пойдет лучше», – утешал он себя, с горечью думая в то же время: «Он непременно запишет сегодня в свой дневник – они все ведут дневники, – что Гвендолен Селлерс оказалась ужасно неинтересной особой. Этакая досада! Да и в самом деле, на нее что-то нашло, я никогда не видел свою дочь такою. А между тем она чертовски хороша в эту минуту, хотя прикидывается, будто бы не способна ни на что иное, как только подбирать крошки со скатерти и рвать в клочки цветы с таким видом, точно ей не сидится на месте. Ну, и в аудиенц-зале дело идет не лучше! Однако уж мне это порядком надоело; я спускаю флаг; пусть другие, если хотят, отстаивают честь Америки».

Хозяин простился со всеми и ушел, отговорившись спешными делами. Влюбленные сидели в разных концах комнаты, как будто не замечая присутствия друг друга. Теперь расстояние между ними немного сократилось. Вскоре и мать последовала за отцом. Они сблизились еще более. Трэси остановился против хромолитографии, изображавшей какого-то политического деятеля из штата Огайо, преображенного чересчур смелой кистью в одного из Росморов в доспехах крестоносца, а Гвендолен сидела на диване, недалеко от его локтя, прикидываясь, будто бы она углублена в рассматривание фотографического альбома, где вовсе не было карточек.

«Сенатор» все еще медлил с уходом. Ему было жаль молодых людей, которые проскучали целый вечер. В простоте души он вздумал занять их теперь, старался сгладить неприятное впечатление общей вялости и скуки и болтал без умолку, напуская на себя притворную веселость. Однако его плохо поддерживали; общий разговор опять-таки не завязывался; он хотел уже уйти, махнув рукой на сегодняшний неудачный вечер, но Гвендолен быстро вскочила с места, ласково улыбнулась и воскликнула в порыве благодарности:

– Как, вы уже уходите? – Гаукинсу показалось жестоким покинуть поле сражения, и он опять сел.

Добряк только что собрался заговорить о чем-то, но тут же осекся. Все мы попадали иногда в такое же глупое положение. Каким-то образом он смекнул, что ему не следовало оставаться, что он попал впросак.

Придя к такому выводу, Гаукинс распрощался и пошел, в недоумении спрашивая себя, что такое мог он сделать, что произвело моментальную

перемену в атмосфере. Когда же за ним закрылась дверь, молодые люди стояли уже рядом, посматривая ему вслед, в тревожном ожидании, считая секунды, и на их лицах отражалась глубокая благодарность. Едва щелкнула дверная ручка, как они бросились в объятия друг другу, а их исстрадавшиеся сердца и губы слились в безумном лобзании.

– О, Боже, она целует материализованного духа!



Никто не слышал этого восклицания, потому что Гаукинс произнес его только мысленно. Очутившись за порогом, он обернулся назад и приотворил дверь с намерением войти и спросить, какую неловкость он сотворил, а затем извиниться. Но старик не вошел обратно в гостиную, а побежал к себе наверх, окончательно растерявшись от ужаса.

ГЛАВА XXII

Пять минут спустя он сидел уже в своей комнате, положив руки на стол и упав на них головой, – поза, выражающая крайнюю степень отчаяния. Слезы лились из глаз, а из груди по временам вырывалось судорожное рыдание.

«Я знал ее, когда она была еще ребенком и карабкалась ко мне на колени, – заговорил он наконец сам с собою. – Я люблю ее, как родное дитя, и вдруг – бедняжка... Нет, я не могу этого вынести!.. Она отдала свое сердце какому-то паршивому духу! И как это мы с полковником не предвидели, что может случиться? Впрочем, разве нам могла прийти в голову подобная вещь? Ни одному человеку, я думаю, не снилось такой нелепости. Ведь нельзя же предполагать, чтобы кто-нибудь влюбился в восковую куклу, а это даже хуже, чем восковая кукла».

И Гаукинс продолжал убиваться, разражаясь время от времени горькими жалобами.

«Да, дело сделано, и его не поправишь. Если бы у меня хватило храбрости, я убил бы его. Но ведь что в том толку? Гвендолен любит этот призрак и считает его человеческим существом; умри он, она будет печалиться о нем, как о реальной личности. И кто может нанести такой удар семье? Уж, конечно, не я. Господи, да мне легче было бы умереть! Селлерс – добрейшая душа в целом мире; что же касается меня, я готов отказаться от всего, только бы... Ах, Создатель, что будет с отцом, когда он узнает истину? А бедная Полли! Вот как скверно водиться с чертовщиной! И что мы только затеяли? Пускай бы этот малый жарился в пекле, как он того заслужил. Удивляюсь, почему от этакой дряни не пахнет серой?.. Иной раз, входя в комнату, где он сидит, я готов задохнуться». И после некоторой паузы он заговорил опять:

– Да, несомненно только одно: материализация должна остановиться на той точке, до которой она доведена теперь. Если Гвендолен суждено сделаться женой призрака, так пусть она выходит замуж, по крайней мере, за порядочное привидение, жившее в средние века, как этот субъект, а не за ковбоя, не за вора, в которого должен обратиться этот протоплазматический головастик, если Селлерс будет продолжать над ним свое колдовство. Пускай мы потеряем пять тысяч фунтов стерлингов и все доходы, которые могли нам принести его дальнейшие превращения. Счастье Салли Селлерс стоит дороже этого.

Гаукинс услышал шаги полковника и поспешил успокоиться. Подсев к своему другу, хозяин заговорил:

– Я должен тебе признаться, что окончательно сбит с толку: ведь наш материализованный дух ел сегодня за столом, в этом нет никакого сомнения. Хотя нельзя сказать, чтобы он утолял голод по-нашему, – он только прикладывался к пище, очевидно, без всякого аппетита, – но все-таки уничтожал ее; а ведь это настоящее чудо. Теперь вопрос в том: зачем ему еда? Ведь он существо бестелесное? По-моему, однако, трудно открыть что-нибудь положительное на этот счет в короткий срок. Но время обнаружит истину – время и наука. Выждем благоприятного случая и не станем терять терпения.

Однако Селлерсу не удалось заинтересовать Гаукинса; тот оставался молчаливым и не мог стряхнуть с себя уныния, пока разговор не принял нового оборота, расшевелившего его наконец.

– Знаешь, Гаукинс, – заговорил опять полковник, – Трэси мне очень понравился: это личность необыкновенная. Под его невозмутимой внешностью скрывается самый отчаянный, смелый ум, какой когда-нибудь был вложен в человека; это просто новый Клейв. Да, я положительно в восторге от него по поводу этого характера, а ты понимаешь, что кем мы восхищаемся, того и любим. Вот и я ужасно полюбил Трэси. Представь себе, у меня не хватает духу унижить такого человека до степени мошенника из-за материальных или иных расчетов, и я хотел спросить тебя, не согласишься ли ты отказаться от награды, чтобы оставить этого бедного малого...

– В том виде, как он есть?

– Да. И не подвергать его новым превращениям.

– О, вот вам моя рука, я от всего сердца согласен на ваше предложение.

– Гаукинс, дружище, никогда не забуду я твоей доброты! – воскликнул старый джентльмен в глубоком волнении. – Ты приносишь мне великую жертву, которая для тебя очень тяжела, но твое великодушие не пропадет даром, и, пока я жив, ты никогда не раскаешься в нем, даю тебе честное слово!

Салли Селлерс немедленно и ясно поняла, что она сделалась новым существом несравненно высшего разряда, чем была до сих пор; мечтательница обратилась в серьезную женщину, с разумным взглядом на свое собственное положение, тогда как прежде в ней говорило одно пустое, тревожное любопытство. И до того велика, до того ощутима была эта перемена, что девушка только теперь стала казаться самой себе действительной личностью, тогда как недавно она была тенью; теперь она

обратилась в «нечто», а незадолго перед тем была «ничто»; обратилась в определенный предмет из порождения фантазии, в законченный храм с горящими на алтарях огнями и пением хвалебных гимнов.

«Леди Гвендолен!» – вся прелесть созвучия этих слов пропала для нее, и теперь они оскорбляли ее слух. Она сказала: «Этот позор принадлежит прошлому; я больше не хочу так называться».

– Могу ли я вас звать просто Гвендолен? – просил Трэси. – Позвольте мне отбросить пустые формальности и называть вас этим милым именем без всяких прибавлений.

В эту минуту она вынимала у него из петлицы гвоздику и заменяла бутоном розы.

– Вот так гораздо лучше. Я ненавижу гвоздику... Впрочем, не всякую. Да, вы можете называть меня по имени без прибавлений... не совсем без прибавлений, а только...

Она не могла договорить. Наступило молчание. Трэси старался разгадать смысл ее слов и, чтобы скрыть неловкое недоумение, вымолвил тоном благодарности:

– Дорогая Гвендолен, я могу вас называть таким образом?

– Да... отчасти. Но – не целуйте меня, когда я говорю; тогда я забываю, что хочу сказать. Вы можете называть меня дорогой, но Гвендолен не мое имя.

– Не ваше имя? – с удивлением спросил молодой человек.

Девушка почувствовала вдруг мучительную тревогу, у нее мелькнуло неприятное подозрение. Отстранив от себя его руки, она посмотрела на Трэси испытующим взглядом и сказала:

– Отвечайте мне правду, по чести. Вы хотите жениться на мне не за мой титул?

Трэси был ошеломлен, так мало ожидал он подобного вопроса. В нем было что-то изысканно-чудовищное – и в этом вопросе, и в вызвавшем его подозрении.

К счастью, влюбленный не скоро опомнился, иначе он разразился бы хохотом. Не желая, однако, терять понапрасну дорогого времени, он стал серьезно уверять Гвендолен, что пленился собственно ею, а не ее титулом и положением, что он любит ее всем сердцем и не мог бы любить больше, будь она герцогиней, или меньше – будь она бездомной сиротой. Салли впиалась глазами ему в лицо, истолковывая себе слышанные слова по его выражению; в ее взгляде была надежда, тревога, смятение, а когда он кончил, она почувствовала неизъяснимую, бурную радость, хотя наружно оставалась спокойной и даже суровой. Она готовилась поразить его,

рассчитывала закрепить эти уверения в бескорыстии и заговорила медленно, отчеканивая каждое слово, наблюдая за их действием, как наблюдают за горящим фитилем начиненной порохом бомбы, ожидая взрыва.

– Послушайте, что я вам скажу, но помните, что это чистая правда. Говард Трэси, я настолько же графская дочь, насколько вы графский сын!

К ее радости и тайному удивлению, роковое признание не произвело на него никакого действия. На этот раз она не застала его врасплох, и, уловив благоприятный момент, он воскликнул с жаром:

– Ну и слава Богу! – Трэси обнял девушку; она не противилась ему, охваченная счастьем, которого не могла передать словами.

– О, как я горжусь этим! – воскликнула Салли, прильнув головкой к его плечу. – Мне казалось, что вы прельстились громким титулом, пожалуй, бессознательно, так как вы англичанин, и я подумала, что вы ошибаетесь, воображая, что любите только меня, что ваша любовь пройдет, когда рассеется обман. Но мое откровенное признание не поколебало вас нисколько, и это наполняет мое сердце беспредельной гордостью, которой я не умею даже высказать. Теперь мне ясно, что вы любите только меня.

– Только тебя, моя ненаглядная! Знатное происхождение твоего отца не внушало мне ни малейшей зависти. Все это истинная правда, моя бесценная Гвендолен.

– Постой, ты не должен называть меня так. Мне ненавистно это фальшивое имя. Я уже сказала тебе, что оно не мое. Мое настоящее имя – Салли Селлерс, или Сара, если тебе так больше нравится. С этой минуты я гоню прочь все мечты, все глупые выдумки, пустую игру воображения; они мне стали противны. Я хочу быть сама собою, моим настоящим, моим честным, моим действительным «я», чистым от позора, безумия, обмана и достойным тебя. Между нами нет ни крупинки общественного неравенства; я бедна, как ты, не имею ни положения, ни знатного имени; ты, в качестве художника, добываешь себе насущный хлеб, я делаю то же самое на более скромном поприще. Оба мы честные труженики, и хлеб, который мы едим, честный хлеб. Рука об руку пойдем по жизненной дороге до могилы, помогая друг другу во всем, живя друг для друга, стремясь к одинаковой цели, желая и чувствуя заодно, – и так проживем неразлучными до конца. Пускай наше положение незavidно в глазах света; мы возвысим его честным трудом и сохраним безупречным свое имя. На наше счастье, мы живем в стране, где этого совершенно достаточно, где, благодаря Бога, люди равны и различаются только по своим личным заслугам.

Трэси хотел остановить ее, но она не дала ему выговорить ни слова.

– Я еще не совсем исправилась, но я хочу очиститься от всех следов искусственности и нелепых претензий; я хочу встать на одинаковый уровень с тобою и быть тебе достойной подругой. Мой отец серьезно считает себя графом: не станем его разочаровывать! Странная фантазия тешит старика и никому не приносит вреда. О том же мечтали и его предки. Это был пункт умопомешательства в доме Селлерсов из рода в род, и я отчасти унаследовала их безумие. Однако оно не пустило во мне глубоких корней. Теперь я отбросила свое заблуждение, и в добрый час! Два дня назад я втайне гордилась званием дочери мнимого графа и воображала, что достойной меня партией может быть только человек одинакового со мной происхождения; между тем сегодня... О, как я благодарна тебе за твою любовь! Она исцелила мой больной мозг, восстановила мое здравомыслие. Теперь я могу поклясться, что никакой графский сын в целом мире...

– Остановись, не надо, не надо!..

– Что с тобой? Ты испугался? Что это значит?

– Ничего, я только хотел сказать... – Однако он ничего не мог придумать и лишь воскликнул с увлечением, стараясь скрыть свое замешательство: – О, как ты прекрасна! У меня захватывает дух, когда твоя красота сияет так ярко!

Это было сказано очень умно, кстати, искренним тоном, и говоривший получил свою награду.

– Постой! На чем я остановилась? Да, графский титул моего отца чистейшая выдумка. Взгляни на эти страшилища по стенам. Ты, наверно, воображал, что это портреты его предков, графов Росморов? Как бы не так! Это хромофотографии, изображающие знаменитых американцев, и все новейшей эпохи; но отец искусственно состарил с помощью грубых переделок. Вот, например, Эндрю Джексон. У нас он, худо ли, хорошо ли, сходит за последнего американского графа, а новейшее сокровище коллекции выдают за молодого английского наследника. Я говорю вон про того идиота, задрапированного траурным крепом. На самом же деле он башмачник, а вовсе не лорд Берклей.

– Ты уверена в том?

– Конечно. У виконта не могло быть подобной физиономии.

– Почему?

– Его поведение в последние минуты, когда он стоял среди пламени, доказывает, что Берклей был настоящий мужчина. Так мог поступить только человек благородный, возвышенной души, юный энтузиаст.

Трэси был сильно растроган такими похвалами. Ему показалось, что губки молодой девушки получили новую прелесть, произнося эти милые

слова. И он заговорил смягченным голосом:

– Жаль, что лорд Берклей не знал, какое приятное воспоминание оставил он на всю жизнь самой очаровательной женщине в Америке, в стране...

– О, я почти влюблена в него! – перебила Салли. – Я каждый день думаю о нем, и его образ вечно витает предо мною.

Трэси нашел, что это уж чересчур, в нем шевельнулась ревность.

– Конечно, ты можешь вспоминать о Берклее по временам, – заметил он, – и, пожалуй, восхищаться, однако я нахожу, что...

– Говард Трэси, неужели вы ревнуете к умершему?

Он был пристыжен и в то же время не пристыжен.

Он ревновал и не ревновал. В некотором смысле покойник был он сам, и в данном случае похвалы и любовь, расточаемые виконту, относились к нему, возвышали его собственные фонды. Но с другой стороны, умерший не был Трэси, и в этом смысле восторженное поклонение Салли выпадало на долю совсем постороннего лица. Влюбленные заспорили до того, что между ними произошла маленькая размолвка. Однако вслед за тем они помирились, после чего их любовь разгорелась еще сильнее. Примирившись с Трэси, Салли на радостях объявила, что совершенно изгоняет из памяти лорда Берклея, и прибавила:

– А чтобы с этих пор у нас не выходило больше неприятностей из-за него, я постараюсь возненавидеть даже самое это имя и всех, кто носил или будет носить его.

Ее слова опять задели Трэси за живое; он уже хотел заступиться за своего двойника на основании общих принципов справедливости и человеколюбия, которые запрещают раскаиваться в добрых побуждениях, но раздумал поднимать новый спор и поспешил уйти от щекотливого вопроса, переведя разговор на менее скользкую почву.

– Я был уверен, что ты не сочувствуешь аристократам и знатности, потому что отвергла графский титул отца.

– О, нет, мой дорогой, нисколько! Настоящих аристократов я не порицаю, но отворачиваюсь от постыдного обмана, который мы допускали.

Этот ответ пришелся как раз кстати, чтобы спасти бедного непостоянного юношу от новой перемены в его политической окраске. Он уже стал опять колебаться и тяготеть к демократическому флагу; тогда Салли вовремя удержала его в тихой пристани, не дав пуститься обратно в бурное море радикальных тенденций. И он был очень рад, что ему пришлось в голову задать ей этот счастливый вопрос. Дочь Селлерса не побрезгует такой безделицей, как настоящая графская корона; она предубеждена

только против поддельного товара. Значит, он может, оставаясь лордом, получить ее руку. Какое счастье, что он решился прямо спросить ее об этом!

Салли в свою очередь легла спать совершенно счастливой и пробыла в чадуге блаженства часа два, но как раз в тот момент, когда она готовилась погрузиться в сладкий сон, лукавый дьяволенок, который живет, скрывается и бодрствует в каждом человеческом существе, выжидая удобного случая насолить владельцу своего жилища, принялся нашептывать влюбленной девушке злые речи: «Вопрос Трэси, совершенно невинный с виду, на самом деле ужасно подозрителен. Какая у него была подкладка? Какой мотив руководил юношей? Что подразумевалось под его словами?»

Уязвив Салли в самое чувствительное место, гадкий чертенок присмирел и притаился, как ни в чем не бывало. Он мог успокоиться вполне, отлично зная, что рана разболится, начнет нестерпимо гореть и сделает свое дело. Так и случилось.



Девушка не могла больше сомкнуть глаз. Зачем Говард Трэси выпытывал ее мнения насчет знатности? С какой целью, если он не имел намерения жениться на ней из-за громкого титула? И как он просиял, когда она сказала, что не пренебрегает настоящими аристократами, что ее предубеждение против знатности имеет свои границы! Нет, положительно графская корона ослепляет его; ради нее он домогается руки бедной Салли Селлерс! Так рассуждала девушка в тоске и слезах. Потом она вздумала

оспаривать свое первое предположение, однако ее слабые усилия не привели ни к чему. В таких догадках и недоумениях прошла целая ночь. На рассвете Салли наконец заснула или, точнее говоря, бессознательно погрузилась в какой-то пламень, потому что тревожный лихорадочный сон походит на пожар. Не освежая мозга, он иссушает его и, вместо того чтобы восстановить телесные силы, приносит одно изнеможение.

ГЛАВА XXIII

Трэси написал отцу, прежде чем лечь спать. Он рассчитывал, что это письмо будет принято лучше его телеграммы, так как в нем содержались вести, приятные для отца. Молодой виконт сообщал, что он попробовал стать на равную ногу с низшими классами и работать ради насущного хлеба, что он выдержал борьбу и не стыдится своей попытки, так как ему удалось доказать на деле свою способность содержать себя личным трудом. Тем не менее, в общем, он пришел к заключению, что не может переделать свет своими единичными усилиями, а потому на будущее время намерен сложить оружие, сознавая, что он сделал достаточно. Теперь же ему хотелось бы вернуться домой, чтобы занять прежнее положение и удовольствоваться им, предоставив дальнейшие эксперименты новым миссионерам, другим молодым людям, которым нужен отрезвляющий житейский опыт – единственная логика, способная вылечить больное воображение и восстановить здравые понятия.

Затем Трэси осторожно подошел к вопросу о своей женитьбе на дочери американского претендента. Он хвалил молодую девушку, но не особенно распространялся насчет ее совершенств, преимущественно налегая на то обстоятельство, что предполагаемый брак послужит прекрасным поводом примирить Йорк с Ланкастером, заставить цвести враждующие розы на одном стебле и раз и навсегда положить конец вопиющей несправедливости, которая и без того существовала слишком долго.

Из его письма можно было понять, что он махнул рукой на прошлое и хочет вернуться к прежней жизни, считая, что так будет гораздо умнее, чем преследовать идею самоотречения, заставившую его покинуть отечество. Тем не менее он не говорил об этом ясно. И чем более перечитывал Трэси свое послание, тем убедительнее казалось оно ему.

Получив весточку от сына, старый граф остался доволен началом послания; он даже улыбнулся с ироническим самодовольством, но, читая конец, сердито фыркнул раза два, что можно было истолковать различным образом. В данном случае он не стал тратить чернил ни на телеграммы, ни на письма, а прямо сел на пароход, чтобы отправиться в Америку и посмотреть своими глазами, что там затевается. С самого отъезда Берклея он сердился на него, не обнаруживая ничем своей тоски по отсутствующему сыну; он твердо надеялся, что тот излечится от своей

химической мечты, и не хотел ускорять этого благотворительного процесса, которому следовало пройти все необходимые стадии; всякие письма и телеграммы из дому могли только испортить дело. Его расчет оказался верным, и в результате он одержал полную победу. К несчастью, она омрачалась только намерением Берклея вступить в нелепый брак. Да, присутствие отца в Америке было теперь необходимо.

В первые десять дней после отсылки письма Трэси некогда было задумываться. Он попеременно то витал в облаках, то спускался в глубь земли, насколько позволял закон тяготения. Юноша был или ужасно счастлив, или ужасно несчастлив, судя по расположению духа мисс Салли. Он ни за что не мог предугадать заранее, когда оно изменится, а в критические моменты не знал, почему оно изменяется. Порою она любила его пылкой, тропической, палящей любовью, не находя достаточно сильных слов для ее выражения, а потом вдруг ни с того, ни с сего барометр опускался, и жертва непостоянства попадала в пояс вечных льдов, чувствуя себя одинокой и всеми покинутой, как Северный полюс. Иногда бедняге приходило в голову, что лучше умереть, чем подвергаться таким внезапным и разрушительным переменам климата.

А между тем дело объяснялось просто. Салли хотела верить, что Трэси любит ее бескорыстно, и потому постоянно испытывала его на все лады, чтобы убедиться, правду ли он говорит. Простодушный малый не догадывался, что над ним производят такие эксперименты, и, конечно, попадал во все ловушки, расставляемые для него влюбленной девушкой. Они заключались в невинных с виду и как будто отвлеченных рассуждениях насчет общественных различий, громких титулов, аристократических привилегий и т. п. Нередко Трэси отвечал наобум, не взвешивая своих слов, только бы продлить разговор. Он не подозревал, что Салли зорко наблюдает за ним, следит за игрой его физиономии, вслушивается в каждое слово с таким напряженным вниманием, как подсудимый следит за чертами лица судьи и жадно ловит каждое его выражение, зная, что от этого человека зависит возвратить его семье и друзьям, даровать ему свободу или навсегда лишить солнечного света и человеческого общества. Он никак не подозревал, что его необдуманные речи тщательно взвешивались, и часто произносил смертельные приговоры там, где мог бы вполне сказать совсем противоположное. Каждый день терзал он сердце любимой девушки, а по ночам лишал ее сна, решительно не догадываясь ни о чем. Хладнокровный наблюдатель мог бы заметить, что настроение Салли никогда не изменялось, пока разговор не касался известного предмета, а в данном случае всегда наступала перемена. Даже

от него не ускользнуло бы, что к этому неприятному предмету постоянно возвращалась только одна сторона, что это делалось нарочно, и каждый посторонний непременно бы спросил, что это значит, если бы не сумел найти объяснения такой загадки. Но Трэси недоставало проницательности или, пожалуй, подозрительности. Он заметил только одну странность: погода была ясна всегда при начале визита. Как бы она ни хмурилась потом, но беда постоянно начиналась при ясном небе. Он не мог объяснить себе этого курьезного факта, а только дивился ему. Между тем на поверку выходило следующее. Даже самая короткая разлука с ним была несносна для Салли, и она так жаждала увидеть его снова, что все сомнения и подозрения сгорали в огне ее страстной любви, и она встречала своего милого, сияя радостью, которая вслед за тем омрачалась.

При таких условиях рисование портрета не может идти успешно. Портрет Селлерса работы Трэси плохо подвигался вперед день за днем, среди жестоких перемен погоды, и ежедневно усваивал следы житейских превратностей, выпадавших на долю его творца. Местами это произведение искусства отличалось большим мастерством, тогда как в других частях оно представляло нечто, обличавшее в художнике несчастливца, обреченного на всевозможные земные бедствия, начиная от боли в желудке и кончая водобоязнью. Но Селлерс был в восторге от своего изображения. Он говорил, что портрет похож на него, как две капли воды, что тут на его лице из каждой поры выступает особое настроение, и все они до того разнообразны, что не подыщешь двух одинаковых. Он утверждал, что его черты и поза выражали на этом полотне целую бездну различных ощущений. Может быть, работа Трэси была лишена всяких художественных достоинств, но по внешнему виду портрет вышел весьма внушительным. Американский претендент был изображен на нем в натуральную величину, во весь рот, в пунцовом бархатном одеянии пэра с тремя нашивками из горностаевого меха для обозначения графского достоинства; его седую голову венчала графская корона, чуточку сдвинутая набекрень для пущей молодцеватости. Когда на душе Салли было ясно, этот портрет заставлял Трэси улыбаться, но при дурной погоде он приводил его в отчаяние, леденил в нем кровь. Однажды вечером, когда влюбленные сидели вдвоем и все шло прекрасно, коварный дьяволенок, смущавший девушку, принялся опять за свои штуки, направляя разговор обычным путем на подводную скалу. Среди самой оживленной беседы Трэси вдруг почувствовал в своей груди какой-то трепет, исходивший извне, из другой человеческой груди, которая крепко прижималась к нему. После этого легкого толчка раздались рыдания. Салли плакала.

– Ну, вот опять! Что я наделал, что я такое сказал, дорогая моя, что ты плачешь?

Она вырвалась из его объятий и взглянула ему в лицо с горьким упреком.

– Что ты такое сделал? Я сейчас скажу. Ты в двадцатый раз явно доказал, – я не хотела этому верить и ни за что бы не поверила, – но ты доказал, что любишь не меня, а этот позор, эту воображаемую знатность моего отца. Нет, я не могу пережить такого горя!

– Дитя мое, опомнись. Мне никогда не приходило в голову ничего подобного.

– О, Говард, Говард! Когда ты забывал притворяться и не удерживал своего языка, то высказывал много, что выдавало тебя.

– Я высказывал какие-то вещи, когда забывал притворяться? О, это жестокие слова! Когда же я говорил не то, что чувствую? Мне нечего удерживать своего языка; у него только одно назначение – говорить всегда правду.

– Говард, я замечала и взвешивала твои слова, когда ты не думал об их значении, но они открыли мне больше, чем ты думаешь.

– Так вот как ты злоупотребила моим доверием! – воскликнул он. – Неужели это правда? Неужели ты ставила мне западни, когда я ничего не подозревал? Нет, я не хочу этому верить! Только заклятый враг может действовать с подобным коварством.

Салли никогда не представляла себе собственного поведения в таком свете. Неужели с ее стороны это было низостью? Неужели она злоупотребила доверием жениха? При этой мысли ее щеки вспыхнули румянцем стыда и раскаяния.

– Прости меня, – сказала она. – Я не знала, что делала. Я так страшно мучилась. Да, ты простишь, ты должен простить; я слишком много выстрадала, и теперь мне стыдно за себя! Ведь ты прощаешь мне, не так ли? Не отворачивайся, милый, перестань сердиться. Всею виной только моя любовь, а ведь ты знаешь, что я люблю тебя всем сердцем. Я не могла этого перенести; о, мой ненаглядный, я так несчастна! Я не хотела оскорблять тебя, не сознавала, куда заведет это безумие, не думала, как я обижаю своими подозрениями самого дорогого мне человека в мире. О, возьми меня опять в свои объятия, у меня нет иного прибежища. В тебе вся моя жизнь, все мои надежды!

Они опять помирились – искренне, бесповоротно, всецело – и оба стали ужасно счастливы. Им следовало бы остановиться на этом, но когда причина странных размолвок наконец выяснилась и Трэси узнал, что виной

всему были опасения Салли, не верившей в искренность его любви, он решил удалить прежний повод к недоразумениям.

– Дай, я шепну тебе на ушко маленький секрет, – заговорил он с глубоким смехом и смущенной улыбкой. – Я, действительно, скрывал от тебя важную вещь. Твое знатное происхождение ни в каком случае не могло соблазнить меня: я сын и наследник английского графа!

Девушка смотрела на него одну, две, три секунды, пожалуй, целых двенадцать; наконец ее губы раскрылись и вымолвили: «Ты?», после чего она двинулась прочь от Трэси, не переставая смотреть на него в глубоком недоумении.

– Что с тобой? Конечно, я говорю правду. На что же ты опять рассердилась? Что я такое сделал?

– Что ты такое сделал? Во-первых, – более чем странное заявление; ты должен и сам это отлично понимать.

– Ну, хорошо, – возразил он с тем же застенчивым смехом, – допустим, что мое заявление странно; тут нет никакой беды, если оно справедливо.

– Если оно справедливо... Значит, ты уже от него отказываешься?

– Ни на один момент! Надеюсь, ты не думаешь этого; я ничем не заслужил подобной обиды. Мои слова истинная правда; почему ты в них сомневаешься?

Салли не замедлила с ответом:

– Потому что ты не сказал о том раньше.

– О! – почти простонал Трэси, сознавая справедливость упрека.

– Ты делал вид, что ничего не скрываешь от меня касательно твоей жизни, и ты не имел права умалчивать о такой важной вещи, после... ну, после того, как вздумал ухаживать за мной.

– Это верно, верно, я знаю, но бывают обстоятельства, когда...

Салли нетерпеливо махнула рукой.

– Послушай, – жалобно продолжал он, – ты так восхищалась перспективой трудовой жизни и честной бедности, что мне стало страшно, я побоялся... Ну, да ведь ты помнишь, что говорила...

– Отлично помню, как и то, что прежде, чем кончился наш разговор, ты спросил, как я отношусь к аристократам, и мой ответ, кажется, усилил твои опасения.

Некоторое время он не говорил ни слова, а потом произнес упавшим голосом:

– Я не вижу тут для себя никакого исхода. Это была ошибка, именно ошибка, и больше ничего. Я не хотел причинять тебе ни малейшего зла, не предвидел, что выйдет из моей скрытности. Право, кажется, я ужасно

недальновиден, и в моем характере есть порядочная доза беспечности.

Молодая девушка была обезоружена на один момент, но вслед за тем опять вскипела.

– Графский сын, вот тебе раз! Да разве графские сыновья бродят по свету, отыскивая себе пропитание и довольствуясь самым неблагоприятным трудом?

– Ну, конечно, нет, а вот мне захотелось этого!

– Разве графские сыновья унижают свое достоинство в такой стране, как Америка, и приходят в трезвом и приличном виде просить руки бесприданницы, если они могут пьянствовать, выкидывать разные пошлости и утопать в долгах, что им нисколько не помешает жениться на дочери американского миллионера? Ты графский сын! Как бы не так! Если это правда, представь мне доказательства.

– Слава Богу, я не могу дать тебе доказательств, только что перечисленных тобою, но тем не менее я графский сын и наследник. Мне хотелось бы, чтобы ты поверила моим словам, однако убедить тебя я не в состоянии.

Она была опять готова смягчиться, если бы не последнее замечание; оно оскорбило ее, и Салли воскликнула:

– О, ты выводишь меня из последних границ терпения! Кто же поверит тебе без всяких доказательств? Ты обещаешь золотые горы, а между тем хочешь выехать на пустой болтовне. Все, что ты говорил, совершенно невероятно; неужели ты сам не видишь этого?

Он напрягал свой мозг, стараясь оправдать ее; потом помолчал немного в нерешительности и наконец заговорил с очевидным усилием и замешательством:

– Я хочу открыть тебе всю правду, хотя она может показаться нелепостью. У меня был идеал, – назови его мечтой, если хочешь, безумием, – но мне захотелось отказаться от привилегий и предосудительных преимуществ, которыми пользуется знать, добившись их путем насилия и обмана. Я думал, что такое участие в преступлениях против общечеловеческого права и рассудка кладет на меня пятно, и желал очиститься от этого позора, поставив себя на один уровень с бедными и простыми людьми, зарабатывая трудом насущный хлеб и успевая в жизни только на основании своих личных заслуг, если мне вообще было суждено чего-нибудь добиться.

Молодая девушка не спускала с него глаз, пока он говорил. Искренняя речь и безыскусственность Трэси растрогали ее до опасной степени, однако она не поддавалась голосу сердца; с ее стороны было бы глупо уступить

состраданию или вообще расчувствоваться, но все-таки она хотела задать ему несколько вопросов. Трэси старался прочесть свой приговор в ее чертах, и то, что он прочел в них, немного ободрило его.

– Ах, если бы какой-нибудь графский сын действительно сделал это! Он был бы настоящим мужчиной, человеком, заслуживающим не только любви, но поклонения.

– Послушай, Салли, дорогая...

– Но жаль, что такого героя никогда не бывало на свете; он еще не родился и никогда не родится, – продолжала она, не слушая Трэси. – Самоотречение, которое могло вдохновить его на такой подвиг, хотя бы оно было безумием и не могло убедить мир своим примером, все-таки сделало бы этого избранника великим. Да, только великая душа могла бы поступить таким образом в наш холодный эгоистический век. На один момент... Пстой, дай мне закончить. Мне надо предложить тебе еще вопрос. Как зовут твоего отца? Граф?..

– Росмор, а я – виконт Берклей.

Эти слова только подлили масла в огонь; девушка почувствовала себя страшно оскорбленной.

– Как вы смеее утверждать такую несообразность? Вы отлично знаете, что Берклей сгорел, и что мне это известно. Украсть имя и почетное звание живого человека ради своекорыстных целей и временной выгоды уже достаточно гнусно, но ограбить таким образом мертвого, – нет, это хуже, чем преступление!



– Выслушай же меня, дай мне сказать одно слово, не отворачивайся с презрением! Не уходи, не покидай меня таким образом, постой одну минутку. Клянусь моей честью...

– Твоей честью!

– Клянусь честью, что я не лгу, и докажу это, и ты должна будешь поверить. Я принесу тебе письмо... или лучше телеграмму...

– Когда?

– Завтра или послезавтра...

– Подписанную именем Росмора?

– Да, с подписью моего отца – «Росмор».

– Ну, и что же это докажет?

– Как что? Что же иное это может доказать, кроме истины моих слов?

– Если ты принуждаешь меня говорить откровенно, то знай, что это докажет только существование у тебя сообщника, скрывающегося где-нибудь.

Слова Салли были тяжелым ударом и сразили Трэси.

– Да, ты права, – вымолвил он унылым тоном. – Я не подумал о том. О, Боже мой, как мне поступить? У меня все выходит глупо. Как, ты уходишь? Не сказав мне даже «до свидания» или «прощайте»? Мы никогда еще не расставались так холодно до сих пор.

– О, мне хотелось бы убежать, а между тем... Нет, уходите, пожалуйста!

Наступила пауза, потом она прибавила:

– Вы можете принести письмо или телеграмму, когда они придут.

– Ты позволяешь? О, благодарю тебя!

Он удалился, хотя не очень поспешно. Губы Салли уже начали дрожать, а после ухода Трэси она бросилась на стул и разразилась рыданиями.

– Вот он и ушел, я потеряла его, – говорила она, захлебываясь слезами, – мы никогда больше не увидимся. И он даже не поцеловал меня на прощание, не потребовал от меня поцелуя, хотя знал, что мы расстаемся навеки. Никогда я не думала, что он будет холоден ко мне после всего, что было между нами. О, что мне делать? Он милый, несчастный, добродушный обманщик, он лжец, но что же делать, если я его люблю! – И немного спустя она заговорила опять: – А какой он славный, как мне будет скучно без него, я просто умру с тоски; пускай бы уж он сочинил какое-нибудь письмо или телеграмму и принес их сюда! О, нет, он не сделает этого, ему никогда не придет в голову какая-нибудь ловкая штука; он такой простой и честный, и как ему, бедняге, могло прийти в голову, что он сумеет провести меня? Да, он вовсе не способен ни на какое притворство и выдает себя с первого шага. О, Господи, лучше пойти спать и махнуть рукой на все. Зачем я не велела ему прийти ко мне и в том случае, если он не получит никакой телеграммы? Теперь я никогда не увижу его, и это по своей собственной вине. А, должно быть, глаза у меня сильно заплаканы!

ГЛАВА XXIV

Назавтра телеграмма, конечно, не пришла. Какое ужасное несчастье! Трэси не мог идти к Селлерсам без этого клочка бумаги, совершенно ничтожного с виду. Но если неполучение телеграммы в первый день могло быть названо ужасной бедой, то по какому лексикону составить фразу, достаточно сильную для обозначения степени несчастья Трэси, когда и десятый день не принес ему удачи? Само собою разумеется, что, не получая ответа от отца, молодой человек становился каждые двадцать четыре часа все мрачнее, все более стыдился самого себя, а Салли с каждым сутками все сильнее убеждалась, что у него не только нет никакого отца где бы то ни было, но даже и сообщника, – откуда следовало, что он мошенник, и больше ничего.

Барроу и старым художникам также приходилось довольно солоно: они лезли из кожи, стараясь урезонить Трэси. Особенно усердствовал преданный ему столяр, посвященный во все тайны своего молодого товарища; он придумывал всевозможные способы образумить этого сумасброда, осторожно выбить у него из головы несчастную манию о графском титуле и о том, что знатный, богатый отец должен не сегодня завтра прислать ему желаемый ответ. Впрочем, видя бесполезность своих усилий, Барроу в конце концов перестал спорить с безумцем. Его дружеские увещания действовали очень дурно на юношу, доводя его до опасных кризисов бешенства. Тогда он, ради опыта, принялся поддакивать Трэси, делая вид, будто бы верит в существование папеньки. Результат был настолько хорош, что он стал продолжать с необходимыми предосторожностями начатый опыт, соглашаясь с молодым человеком и в том, что он принадлежит к знатному роду; Трэси становился все спокойнее, доверчивее, и тогда Барроу попробовал внушить ему, что у него, пожалуй, даже два отца, но это не понравилось юноше, и столяр избавился от одного из них, а вместо того принялся уверять приятеля, что телеграмма непременно придет, хотя был твердо уверен в противном. Однако он не переставал о ней толковать ежедневно с такой твердой надеждой, что поддерживал в Трэси остаток бодрости. И в самом деле, если бедный англичанин остался жив, то единственно благодаря возможности опереться на мнение Барроу. Салли переживала, со своей стороны, тяжелые дни, облегчая себя только слезами втихомолку. Рассеяннo относясь ко всему окружающему, она вдобавок простудилась, потеряла аппетит и совсем

завяла. В то же время как будто все силы природы и обстоятельств обратились против нее. Так, например, на другой день после разрыва с Трэси, Гаукинс и Селлерс вычитали из газет, что игрушка-головоломка, называемая «Свинки в клевере», приобрела внезапную популярность за последние недели, что от Атлантического до Тихого океана все население Соединенных Штатов бросило работу, чтобы заниматься игрушкой, и по этому поводу все дела в стране пришли к ужасному застою. Судьи, адвокаты, ночные грабители, попы, мазурики, торговцы, ремесленники, душегубы, женщины, дети, грудные младенцы, одним словом, все с утра и до глубокой ночи были заняты только одним: как бы им загнать в загородку непослушных свинок и не выпустить оттуда ни одну из них. Всякие развлечения приостановились; всякая веселость покинула американскую нацию, сменившись недовольством и озабоченностью; тревога, уныние, горе читались на всех лицах, преждевременно старили их, причиняя людям душевные болезни и формальное умопомешательство; фабрики в восьми городах работали день и ночь, изготавливая эту игрушку, и все-таки не могли удовлетворить требования покупателей. Гаукинс сходил с ума от радости, но Селлерс оставался хладнокровным. Мелочи жизни не могли нарушить его философского спокойствия.

– Так всегда бывает, – говорил он. – Вы изобретаете вещь, которая в состоянии произвести революцию в искусствах, дать горы золота, облагодетельствовать мир, и никто не обратит на нее внимания; она пропадет бесследно, а изобретатель останется нищим, как был. Но стоит вам изобрести ничтожную игрушку для собственной потехи, чтобы забросить ее в случае неудачи, как вдруг она внезапно прогремит на весь мир и доставит вам богатство. Ступай-ка, дружище Гаукинс, к твоему янки да получи с него, что следует. Половину можешь взять себе, как я уже говорил. А мне самому некогда. Я должен приготовить свою лекцию.

Это была лекция о трезвости. Селлерс состоял председателем общества трезвенников и время от времени читал лекции в интересах высокой добродетели – умеренности, но был недоволен собственным красноречием, вследствие чего вздумал взяться за дело с другой стороны. Серьезно обсудив вопрос, он пришел к тому заключению, что плохой успех его публичных речей обуславливается недостатком в них ораторского пыла, ибо сам лектор является не более как дилетантом по избранному предмету. Слушатели слишком ясно понимали, что он описывает пагубное действие алкоголя только понаслышке, не испытав его на себе. Теперь же он вознамерился убедить заблуждающихся на основании личного горького опыта и с этой целью прибегнул к содействию Гаукинса. На обязанности

последнего лежало стоять возле него с бутылкой виски, рассчитывать приемы, наблюдать за их действием, отличать результаты и вообще всячески способствовать предпринятому лектором эксперименту над самим собой. Времени у них оставалось немного, так как почтенные леди – члены общества трезвости, носившего название «Дщерей Силоама» – должны были собраться около полудня, и Селлерсу предстояло шествовать во главе устроенной ими процессии.

Между тем часы проходили за часами. Гаукинс замешкался. Селлерс не мог откладывать далее опыта и принялся за коньяк в одиночку, отмечая сам действие винных паров. Когда же его друг пришел наконец домой, то при первом взгляде на лектора, не говоря ни слова, спустился вниз и стал во главе процессии. Собравшиеся леди были крайне огорчены, узнав о внезапной болезни защитника трезвости, но Вашингтон успокоил их, сказав, что, несмотря на острый характер недуга, пациент наверное поправится через несколько дней.

Целые сутки старый джентльмен не подавал признаков жизни, о которых стоило бы упоминать. По истечении же этого срока он осведомился насчет процессии и узнал о случившемся. Бедняга был сильно огорчен, говоря, что специально готовился к этому случаю. Полковник провел в постели несколько дней; жена и дочь поочередно ухаживали за ним. Часто принимался он гладить Салли по голове, стараясь ее утешить.

– Не плачь, дитя мое, умоляю тебя, – говорил он, – ты ведь знаешь, что твой старик-отец поступил так по неведению, без всякого дурного умысла; ты знаешь, он ничего не сделает такого, что могло бы принести тебе бесчестие в глазах людей. Я имел в виду общественную пользу и выпил лишнее по неопытности, из-за того, что тут не было Гаукинса, который мог указать мне настоящую дозу. Не плачь же, дорогая, мне больно видеть тебя в слезах и сознавать, что я навлек такое унижение на свое родное дитя; ведь ты у меня такая славная дочь, и твой отец не чаёт в тебе души! Никогда больше не буду я делать этого, можешь быть покойна, душечка. Ну, вот и спасибо, что ты смотришь немного повеселее.

Однако Салли плакала так же неутешно, когда и не сидела у постели отца. В таких случаях мать принималась утешать ее и говорила:

– Не плачь, голубка, отец твой не сделал ничего дурного; это была одна из тех случайностей, которых нельзя избежать, когда производишь опыты над самим собой. Ты видишь, я не плачу, оттого что хорошо знаю твоего отца. Я не смела бы никому взглянуть в лицо, если бы он напился из пристрастия к вину. Но его намерения были чисты и возвышенны, а потому и самый его поступок не имеет в себе ничего предосудительного; твой отец

только зашел чересчур далеко в своем самопожертвовании. Это не бросает на нас ни малейшей тени; им руководили благородные побуждения, и нам нечего стыдиться.

При таких условиях старый джентльмен был полезен дочери в течение этих дней, потому что его состояние служило благовидным предлогом для ее слез. Она была благодарна ему, когда он журил ее, но часто говорила себе: «Как стыдно с моей стороны оставлять его в заблуждении, что я плачу из-за него; он страдает при виде моего горя и винит себя, хотя никогда в жизни не сделал ничего такого, в чем бы я могла упрекнуть его. Но мне нельзя откровенно сознаться ему во всем; пускай уж лучше думает, что хочет; он – единственный человек, перед кем я могу выплакаться, а мне так необходимо чье-нибудь участие».

Как только Селлерс поправился и узнал, что на имя его и Гаукинса положены в банк большие суммы денег предприимчивым столяром-янки, фабриковавшим изобретенную им игрушку, он сказал:

– Теперь мы скоро увидим, кто из нас претендент и кто настоящий граф. Я непременно отправлюсь за океан и подниму на ноги палату лордов.

Следующие дни он и его жена были так заняты сборами в далекое путешествие, что Салли могла оставаться в полнейшем уединении, и никто не мешал ей заливаться слезами. Почтенная чета отправилась в Нью-Йорк, чтобы отплыть оттуда в Англию.

После отъезда родителей Салли осталась совершенно свободной и могла располагать собой, как хотела. По ее мнению, жизнь при теперешних условиях была совсем невыносима. Если ей придется махнуть рукой на жалкого обманщика и умереть с горя, она, конечно, покорится неизбежному, но нельзя ли еще найти какой-нибудь исход, например, рассказать обо всем случившемся доброму, беспристрастному человеку и попросить его совета?

Молодая девушка долго обдумывала этот вопрос; когда же Гаукинс пришел к ней в первый раз после отъезда отца и матери, – причем их разговор коснулся Трэси, – она решилась посвятить государственного мужа в свою тайну. Салли открыла перед ним все происшедшее, и он слушал ее с грустным участием; наконец она заключила свою исповедь такими словами:

– Не говорите мне, что он обманщик; я сама подозреваю это, но не кажется ли вам, что он как будто прав?.. Вы хладнокровно смотрите на дело, как человек посторонний, и, пожалуй, также не считаете Трэси способным на низость. Сжальтесь надо мной, скажите, так ли это?

Бедняга был смущен, но счел своей обязанностью не уклоняться от

истины. Походив вокруг да около скользкого вопроса, он отказался, однако, от всякой попытки оправдать Трэси.

– Воля ваша, – заявил майор, – этот человек обманщик.

– Ну, да, хорошо, допустим, что он действовал не совсем честно, но все-таки у вас есть кое-какие сомнения на этот счет, мистер Гаукинс?

– Мне очень жаль, однако я должен сказать, – если вы меня к тому принуждаете, – что его мошенничество несомненно.

– О, мистер Гаукинс, как можно заходить так далеко! Никто не может знать в данном случае, где правда и где ложь. Ведь это еще не доказано, что Трэси выдает себя за другое лицо?

Вашингтон задумался: не облегчить ли ему своего сердца, не сказать ли ей всей правды? Да, по крайней мере, большую часть того, что есть. Действительно, это следует сделать. Он стиснул зубы и, не колеблясь, приступил к делу, решив пощадить молодую девушку только в одном отношении: он хотел умолчать перед ней о преступности Трэси.

– Послушайте, дорогая Салли, теперь я открою вам всю истину. Хотя мне и тяжела эта откровенность, и вам будет неприятно выслушать мои слова, но мы оба должны быть тверды. Я знаю все об этом художнике и знаю также, что он не графский сын.

Глаза девушки загорелись, и она заметила ему:

– Я ни капли не забочусь о знатности происхождения этого молодого человека; пожалуйста, говорите дальше.

Замечание мисс Селлерс было так неожиданно, что Гаукинс запнулся, не веря своим ушам, и наконец произнес:

– Не знаю, так ли я вас понял; вы хотите сказать, что если бы он оказался порядочным человеком, то вы отнеслись бы совершенно равнодушно к тому, имеет ли он право на графский титул или нет?

– Разумеется!

– Вы удовольствовались бы любовью Трэси, независимо от его происхождения, и графское достоинство не прибавило бы ему в ваших глазах никакой цены?

– Ни малейшей. Я должна сознаться, мистер Гаукинс, что бросила все эти глупые бредни насчет графского наследства, аристократизма и тому подобных нелепостей, что я смирилась со своим скромным общественным положением и довольна им вполне. Этой благотворной переменой я обязана не кому иному, как Трэси. Поверьте, что я готова любить его таким, каков он есть; никакое внешнее условие не может прибавить ему цены в моем мнении. Он для меня целый мир; в нем самом заключается все, что имеет цену. Каким же образом громкий титул может прибавить ему что-

нибудь?

«Однако она далеко зашла, – подумал Вашингтон и мысленно продолжал, рассуждая сам с собою: – Мне надо изменить свой план, только это дело мудреное. Не открывая преступности бедного малого, надо придумать про него что-нибудь такое, что могло бы разочаровать Салли насчет ее бывшего жениха, а в случае неудачи я буду, по крайней мере, знать, что бедняжке ничем не поможешь и лучше оставить ее в покое». Затем он сказал вслух:

– Видите, Гвендолен...

– Называйте меня, пожалуйста, Салли.

– Отлично, я очень рад этому. Мне гораздо больше нравится ваше прежнее имя. Так вот, моя милая, я хочу вам рассказать про этого Снодграса.

– Снодграса? Да разве его так зовут?

– Да, он Снодграс. Говард Трэси – его псевдоним.

– Но это преотвратительное имя!

– Согласен с вами, только, к сожалению, ведь мы не можем выбирать себе имен.

– И неужели это его настоящее имя, а не Говард Трэси?

– Нет, и это ужасно жаль, – подтвердил Гаукинс с печальной миной.

– Снодграс, Снодграс! – молодая девушка с трудом выговаривала эту фамилию. – Нет, решительно я не могу с ней примириться, не могу к ней привыкнуть. Лучше я буду называть Трэси просто по имени; какое же у него имя?

– Его имя... гм... он подписывается заглавными буквами «С. М.»

– Заглавными буквами? Что мне за дело до его заглавных букв! Я не могу называть его по заглавным буквам. Что такое они обозначают?

– Его отец был доктор и... как бы вам сказать?.. боготворил свою профессию, а будучи крайне эксцентричным...

– Нет, вы мне скажите, что означают эти заглавные буквы? Почему вы игнорируете мой вопрос?

– Они... они обозначают имя Спиналь Менингитис. Так как отец его был до...

– Никогда не слыхала такого отвратительного имени! У кого повернется язык назвать им личность, которая... которая вам дорога! Да я и злому врагу не дала бы этой клички. Она похожа на какой-то эпитет! – И минуту спустя Салли прибавила с оттенком досады: – Ну, вдруг мне придется носить такую фамилию? На письмах, адресованных ко мне, напишут такую гадость!

- Да, вас будут величать миссис Спиналь Менингитис Снодграс.
- Ах, пожалуйста, не повторяйте; пожалуйста, не повторяйте! Я не могу этого слышать. Верно, его отец был помешанный!
- Нет... по крайней мере, его не признавали таким...
- Тем лучше: помешательство переходит по наследству. В таком случае, что же с ним было?
- В их семье было много идиотов, и потому может быть...
- Какое уж тут «может быть»; по крайней мере, этот доктор был полнейший идиот.
- Пожалуй. Люди подозревали в нем что-то неладное.
- Подозревали! – с раздражением воскликнула Салли. – Разве можно подозревать, что наступит темнота, когда видишь, что звезды затмеваются на небе? Довольно, однако, об этом глупце; дураки меня несколько не интересуют. Расскажите мне лучше о сыне.
- Очень охотно; так называемый Говард Трэси был самым старшим в семье, но вместе с тем и нелюбимым; брат его, Зилобальзам...
- Пойдите, дайте мне опомниться; вы меня просто ошеломили. Зило... как вы его называли?
- Зилобальзам.
- Никогда не слыхала такого имени. Оно похоже на название какой-то болезни. Скажите, это не болезнь?
- Нет, не думаю... Это скорее из Священного Писания или...
- Вовсе не из Священного Писания!
- Ну, тогда из анатомии. Я знаю, что это одно из двух. Да, действительно, я припомнил, – это из анатомии. Так называется ганглий – нервный узел, то, что известно в патологии под именем зилобальзамного процесса...
- Хорошо, говорите дальше. А если опять дойдет до имен, то лучше пропускайте их; от таких словечек корбит, и мороз продирает по коже.
- Извольте, будь по-вашему. Итак, я сказал, что старший сын не был любим в семье; родители оставили его на произвол судьбы, не дали ему образования, позволили мальчику находиться в обществе безнравственных, грубых людей. После этого нет ничего удивительного, что он вырос неучем, пошляком, самым необузданным нахалом и...
- Как, он? Да с чего вы взяли? Ну, не ожидала я от вас, что вы станете клеветать так жестоко на бедного юношу, брошенного судьбой на чужбину! Нет, в нем решительно не найдется ни одной упомянутой вами черты. Напротив, он почтителен, любезен, услужлив, деликатен, утонченно воспитан и образован. О, как вам не стыдно возводить на него напраслину!

– Я не осуждаю вас, милая Салли, за ваше пристрастие. Вы до такой степени ослеплены любовью, что не замечаете мелких недостатков предмета своего увлечения. Однако другим они бросаются в глаза; всякий, кто только...

– Мелкие недостатки! Вы называете это мелкими недостатками? Вот разодолжили! Как же вы назовете тогда преступные действия, вроде убийства или поджога?

– На такой вопрос трудно ответить сразу; оценка подобных деяний находится в прямой зависимости от обстановки. Со стороны одного человека эти нравоучения будут более преступны, со стороны другого – менее. Впрочем, к ним нередко относятся неодобрительно.

– Это к убийству-то и поджогу?!

– О, во многих случаях!

– Неодобрительно! Скажите на милость, кто эти пуритане, о которых вы толкуете? Но постойте! Откуда вам известно столько подробностей насчет семейства Трэси? Где это вы собрали такую бездну голословных улик?

– Салли, я вовсе не повторяю пустой молвы. Семья эта мне лично знакома.

Она была поражена.

– Неужели? Вы действительно знакомы с ними?

– Я знал брата мистера Трэси, Зило, как мы его называли; знал их отца доктора Снодграса. С вашим любезным мы не были знакомы, хотя он показывался к отцу время от времени, возбуждая о себе много толков. Бедный малый сделался в некотором роде притчею во языцех, по поводу своего...

– Вероятно, по поводу того, что он был поджигателем и убийцей? Такие подвиги, конечно, заставляют говорить о себе. Где же вы встречали эту семью?

– В Чироки-Стрип.

– О, как важно! Да в Чироки-Стрип не наберется даже столько народу, чтобы создать кому-нибудь репутацию, хорошую или худую. Эта местность не получила права гражданства, и все ее население состоит из нескольких шаек конокрадов.

– Так вот наш знакомый и был одним из них, – невозмутимо ответил Гаукинс.

Глаза девушки загорелись; дыхание стало отрывистым; однако она не дала воли гневу и смолчала. Государственный муж сидел смирно, выжидая, что будет дальше. Он был доволен своей выдумкой. По его мнению, это

был чудный образец дипломатического искусства, и после такого подвига он мог со спокойной совестью предоставить Салли поступить по ее собственному усмотрению. Гаукинс полагал, что она махнет рукой на своего материализованного духа; он даже не сомневался в том и только хотел одобрить со своей стороны ее решение.

Между тем Салли задумалась и, к досаде майора, произнесла вердикт против него.

– У Трэси нет в нашем городе друзей, кроме меня, – сказала она, – и я не хочу покинуть его в несчастье. Я не выйду за него замуж, если он окажется дурным человеком, но если он оправдается, то соглашусь отдать ему свою руку, и даже сама постараюсь с ним увидаться. Мне он кажется вполне хорошим человеком; я не заметила в нем ни единой дурной черты, исключая, разумеется того, что он называл себя графским сыном, но, может быть, в сущности, это одно невинное тщеславие. Я не могу поверить, чтобы он сколько-нибудь походил на портрет, который вы мне нарисовали. Будьте так добры, сходите к нему и пошлите его ко мне. Я буду умолять, чтобы он поступил со мной по чести и сказал всю правду, не опасаясь ничего.

– Хорошо, я согласен. Вспомните, однако, Салли, что он беден и...

– О, мне это решительно все равно. Итак, вы сходите за ним?..

– Схожу. Когда?

– Как жаль, что теперь уже темнеет. Идти в такое позднее время неловко... Но вы обещаете мне отправиться к нему завтра утром?

– Едва только настанет день, он будет у вас.

– Ну, вот теперь вы опять стали прежним, добрейшим майором Гаукинсом, даже милее, чем когда-нибудь.

– Я не мог ожидать ничего выше этой похвалы. До свидания, моя дорогая.

Оставшись одна, Салли на минуту погрузилась в размышления, а потом сказала про себя серьезным тоном: «Я люблю его, несмотря на гадкое имя», – и с облегченным сердцем пошла заниматься своими делами.

ГЛАВА XXV

Гаукинс отправился прямо на телеграфную станцию, где и облегчил немедленно свою совесть. Он сказал самому себе: «Салли ни за что не хочет отказаться от этого гальванизированного трупа: это ясно. Даже диким лошадям не оттащить ее от него. Я сделал что мог, и только подлил масла в огонь. Теперь дело Селлерса принять более решительные меры». И он телеграфировал в Нью-Йорк.

«Возвращайтесь назад. Закажите экстренный поезд. Она хочет выйти замуж за материализованного духа».

Тем временем в Росмор-Тоуэрс пришло письмо от графа Росмора с уведомлением, что он прибыл из Англии и будет иметь удовольствие лично явиться к Селлерсам.

«Как жаль, что он не остановится в Нью-Йорке. Впрочем, все равно, – подумала Салли. – Завтра он может отправиться туда на свидание с моим отцом; очень может быть, что у него есть намерение хватить папашу по голове индийским томагавком или предложить ему отступного. Некоторое время назад его приезд взволновал бы меня, теперь же я радуюсь этому только в одном отношении. Я могу сказать Спайну, Спино, Спиналю... Нет, этому гадкому имени решительно нельзя придать никакой сносной формы! Итак, завтра я могу озадачить Трэси такими словами:

– Пожалуйста, не старайтесь уверить меня в своей правоте, иначе я скажу вам, с кем имела случай беседовать вчера вечером. И тогда вы не сумеете выпутаться из своего положения».

Трэси совсем не знал, что получит на следующий день приглашение от Салли, иначе он подождал бы этого благоприятного момента. Юноша был слишком несчастлив, чтобы терпеть долее; его последняя надежда на получение письма также не сбылась. Неужели отец не хочет о нем слышать? По всему выходит так. Это было не похоже на графа, однако все обстоятельства подтверждали печальное предположение. Правда, отец был человек суровый, но сына он горячо любил. Все-таки его упорное молчание не предвещало ничего доброго. Трэси решил пойти в Росмор-Тоуэрс, что бы ни ожидало его там. А потом... что будет потом? Он не мог ответить на этот вопрос; его голова устала от напряженного мышления; он не хотел обдумывать ни своих дальнейших поступков, ни своих слов: пускай все случится, как назначено судьбой. Только бы еще раз увидеть Салли, а там будь что будет!

Молодой человек сам не отдавал себе отчета, каким образом и когда попал он в Тоуэрс. Он сознавал только одно, что они остались наедине с Салли. Она встретила его ласково; ее глаза были влажны, а на лице выражалась такая тоска, которой девушка не могла вполне скрыть; впрочем, обращение ее было сдержанное. Они разговорились. Немного спустя она сказала, поглядывая сбоку на его понурое лицо:

– Знаете, мне так скучно одной в опустелом доме после отъезда папы и мамы! Я стараюсь развлечься чтением, но книги не занимают меня, а в газетах все такая чепуха. Берешь какой-нибудь листок, начнешь читать статью, как будто интересную сначала, и вдруг встречаешь скучнейшие похождения какого-то Снодграса...

Трэси не двинулся, и ни один мускул не дрогнул в его лице. Такое невероятное самообладание поразило Салли; недовольная своей неудачей, она молчала так долго, что Трэси наконец поднял на нее глаза с унылым видом и спросил:

– Ну, что же дальше?

– О, я думала, что вы не слушаете... Да... бесконечные похождения доктора Снодграса, которые мало-помалу надоедают вам до тошноты, а далее не менее скучные подробности насчет его младшего сына – любимца семьи, Зилобальзама Снодграса...

Опять никакого признака оживления со стороны Трэси, сидевшего по-прежнему с поникшей головой. Какое сверхъестественное хладнокровие! Салли уставилась на него и продолжала дальше, решившись вывести обманщика на этот раз из его безучастного молчания. Он должен смутиться, если она сумеет придать динамическую силу своим рассчитанным словам, имевшим двоякий смысл.

– А вот в последних номерах газет говорится насчет старшего, нелюбимого сына этого доктора, который вырос заброшенным ребенком и остался неучем, грубым, пошлым человеком; водил компанию со всякой дрянью и, войдя в возраст, сделался неотесанным болваном и невеждой.

Трэси по-прежнему сидел с опущенной головой. Салли встала с места, тихо и торжественно приблизилась к нему и остановилась, глядя на него в упор. Тогда его голова слегка приподнялась, а тусклые глаза встретились с ее глазами, после чего молодая девушка договорила с сильным ударением:

– ...его старший сын, по имени Спиналь Менингитис Снодграс.

Трэси обнаружил только признаки возрастающей усталости. Салли была оскорблена этой железной неподатливостью, этим бесчувствием и воскликнула:

– Скажите, из какого материала вы созданы?

– Я? Зачем вы это спрашиваете?

– Неужели в вас нет ни капли чувства? Неужели мои слова не пробудили в вашей душе остатка совести?

– Н-нет, – отвечал он, удивляясь такому странному обороту разговора. – По-видимому, они ничего не затронули во мне, и почему же должно быть иначе?

– Ах, Господи! Как вы можете сохранять невинный вид, напускать на себя недоумение, оставаться ласковым, спокойным и невозмутимым, слыша подобные вещи? Взгляните мне в глаза, прямо, прямо, вот так, а потом отвечайте без уверток. Ведь доктор Снодграс ваш отец, а Зилобальзам приходится вам родным братцем? (Тут пришедший Гаукинс хотел войти в гостиную, но изменил свой план, услышав, что там происходит; он предпочел прогуляться по городу и незаметно выскользнул из дому.)

– Ведь ваше настоящее имя – Спиналь Менингитис, а ваш отец доктор и дуралей, как и весь ваш род за много поколений? Берегитесь, я знаю все; мне известно даже, что он называет всех своих детей по имени разных ядов, эпидемий и анатомических аномальностей в человеческом организме. Отвечайте мне так или иначе, и сейчас же. Что вы сидите передо мной, точно конверт без адреса, и равнодушно смотрите, как я у вас на глазах схожу с ума от неизвестности?

– О, как я желал бы... желал бы сделать что-нибудь такое, что могло бы успокоить вас, чтобы вы были счастливы! Но я ничего не знаю, ничего не умею. Я никогда не слыхивал об этих людях с такими ужасными именами.

– Как? Повторите, что вы сказали.

– Никогда, никогда в жизни до настоящей минуты!

– О, вы говорите это с таким открытым видом. Должно быть, ваши слова справедливы. Конечно, вы не могли бы смотреть таким образом, если бы лгали мне. Не так ли?

– Да, я не мог бы тогда смотреть на вас. Мои слова – чистая правда. Умоляю, положим конец этой муке. Отдайте мне опять ваше сердце, ваше доверие...

– Пойдите, вот еще одно. Признайтесь мне, что вы говорили вздор из одного пустого тщеславия и раскаиваетесь в том; признайтесь, что вас не ждет никакая графская корона и...

– Да, я исцелился, исцелился вполне; в нынешний день я решительно ничего не жду.

– О, тогда ты мой! Ты вернулся ко мне обратно в красе и ярком ореоле

своей незапятнанной бедности, своей честной безвестности, и только одна могила отнимет тебя у твоей Салли! Даже если бы...

– Граф Росмор из Англии! – доложил вошедший Даниэль.

– Мой отец! – молодой человек выпустил девушку из объятий и наклонил голову.



Старый джентльмен стоял у дверей и наблюдал за юной парочкой. Один его глаз, устремленный на Салли, выражал полное благоволение, а другой обратился на Берклея со смешанным выражением. Эта мудреная штука не всегда удается, но она возможна. Наконец на его лице появилась притворно-ласковая мина, и он сказал виконту:

– Кажется, с твоей стороны было бы не лишним обнять меня.

Молодой человек с жаром бросился к нему.

– Значит, вы все-таки графский сын? – с упреком произнесла Салли.

– Да, я...

– Тогда вы мне не нужны!

– Позвольте, ведь вы знаете...

– Ничего не хочу знать! Вы опять солгали мне.

– Она права. Ступай и оставь нас; я должен с ней поговорить.

Берклею оставалось только уйти, но он ушел недалеко и остался в Тоуэрсе. Старый граф беседовал с Салли до полуночи и наконец сказал:

– По дороге сюда я все думал, что мне нужно присмотреться к вам хорошенько, моя дорогая, и, говоря по совести, я не хотел давать согласия

на ваш брак, если встречу здесь двух безумцев. Но так как только один из вас оказался глупцом, то вы можете взять его в мужья, если хотите.

– Конечно, хочу. Позвольте мне вас поцеловать?

– Можете. Спасибо вам. Пользуйтесь этой привилегией всегда, когда будете умницей.

Гаукинс уже давно вернулся и проскользнул в лабораторию. Ему было не особенно приятно встретить там свое новейшее изобретение – молодого Снодграса. Тот сообщил ему новость о прибытии английского Росмора и прибавил:

– Это мой отец, я же виконт Берклей, я уже не Говард Трэси.

Майор выпучил глаза.

– Господи Боже! Значит, вы покойник?

– Как покойник?

– Ну да, вы померли, и нам достался ваш пепел.

– Отвяжитесь вы с этим проклятым пеплом, надоел он мне до смерти!

Вот я возьму и подарю его своему отцу.

Медленно и с трудом убедился государственный муж в невероятном факте, что перед ним настоящий молодой человек из плоти и крови, а не бестелесный выходец с того света, каким он считал его. Наконец он произнес с большим чувством:

– Ах, я так рад, так рад за бедняжку Салли! Ведь мы принимали вас за материализованного духа; думали, что вы тот самый вор, который обчистил банк в Таликуа. Это будет тяжелым ударом для Селлерса!

Когда майор объяснил Берклею, в чем дело, тот сказал:

– Ну, ничего, претендент должен перенести это несчастье, как оно ни тяжело; впрочем, он скоро утешится.

– Кто? Полковник? Он сейчас позабудет о нем, как только выдумает новое чудо взамен этого. Да Селлерс уже успел придумать кое-что другое. Но позвольте, однако... Как вы полагаете: что случилось с человеком, за которого мы вас принимали?

– Право, не знаю. Я захватил его платье во время пожара, вот и все. Надо думать, что он погиб.

– Значит, вы нашли у него в карманах двадцать или тридцать тысяч долларов деньгами или ценными бумагами?

– Нет, только пятьсот и еще безделицу. Безделицей этой я воспользовался заимообразно, а пятьсот долларов положил в банк.

– Что же мы с ними сделаем?

– Возвратим владельцу.

– Это легко сказать, но не легко исполнить. Подождем приезда

Селлерса; он даст нам совет. Ах, кстати! Я сейчас только вспомнил, что мне надо поспешить к нему навстречу и объяснить, кем вы оказались и кем не оказались! Иначе он ворвется сюда, как буря, чтобы помешать своей дочери выйти замуж за призрака. Но... пожалуй, ваш собственный отец не позволит вам жениться на Салли?

– Напротив, он беседует с ней в гостиной, и все идет благополучно.

Майор действительно отправился на вокзал железной дороги предупредить Селлерса. После того в Росмор-Тоуэрсе целую неделю замечалось большое оживление. Оба графа были такими противоположностями во всем, что вскоре сошлись между собою. Селлерс рассказывал по секрету, что Росмор – необыкновеннейший человек, какого он только встречал, что это сама воплощенная доброта, хотя он до того искусно скрывает такое похвальное качество, что даже самый проницательный мудрец не может о нем догадаться; вся его жизнь была образцом кротости, терпения, благотворительности, между тем он так хитер и так умеет прикидываться суровым, строгим и бессердечным, что много умнейших людей способны прожить с ним целые столетия, не подозревая в его душе подобных свойств.

Наконец скромная свадьба была отпразднована в Тоуэрсе – вместо пышной и шумной в британском посольстве, – отпразднована с милицией, пожарными бригадами и обществами трезвости, в сопровождении торжественной процессии с горящими факелами, как предлагал сначала один из графов. Художники, Гандель и капитан Сольтмарш, присутствовали на церемонии; Брэди-рудокоп и Киска были также приглашены, но рудокоп был болен, а Киска ухаживала за ним, потому что теперь они стали женихом и невестой.

Маститые супруги Селлерс хотели отправиться на некоторое время в Англию, погостить у новой родни, но когда пришло время садиться на поезд в Вашингтоне, полковник куда-то пропал. Гаукинс собрался проводить отъезжающих до Нью-Йорка и обещал объяснить им дорогой причину этого внезапного исчезновения. Она была изложена в собственноручном письме чудака, оставленном Гаукинсу. Он обещал присоединиться к миссис Селлерс в Англии, немного времени спустя. Далее шло следующее:

«Говоря по правде, дорогой Гаукинс, у меня явилась колоссальная идея, вследствие чего я не успел даже проститься с моими близкими. Мы обязаны ставить священный долг превыше всего, исполняя его со всей поспешностью и энергией, на которую только способны, хоть бы для этого нам приходилось заглушить голос собственного сердца или

нарушить требования приличий. Первый долг человека есть долг по отношению к собственной чести, а ее мы обязаны хранить незапятнанной. Между тем моей чести грозит немалая опасность. Будучи заранее уверен в том, что мне достанется несметное богатство, я – может быть, преждевременно, – отправил русскому правительству письмо с предложением уступить мне Сибирь за громадные деньги. Между тем известный эпизод обнаружил несовершенство моего метода материализации, на котором я основывал свое будущее баснословное обогащение. Русское правительство каждую минуту может ответить мне благосклонным согласием. Случись это теперь, я буду поставлен в самое неприятное затруднение и окажусь несостоятельным в финансовом смысле. У меня не хватит средств купить Сибирь; это сделается известным целому свету, и кредит мой поколеблется. Последнее время я немало горевал втихомолку от всех; мой горизонт омрачился, но теперь на нем снова засияло солнце. Я вижу ясно свой путь, я буду в силах сдерживать свои обязательства и, по-видимому, даже не испрашивая никаких льгот и отсрочек.

Моя новая грандиозная идея, величайшая из всех, приходивших мне в голову, – спасет меня вполне, я в том уверен. В данный момент я отправляюсь в Сан-Франциско, чтоб осуществить свой план при помощи колоссального телескопа. Подобно всем моим наиболее замечательным открытиям и изобретениям, эта идея основана на твердых, практических законах науки. Все другие основы непрочны, а следовательно, и не заслуживают доверия. Дело в том, что я придумал изменение климата в различных странах, согласно желанию их населения. Я буду доставлять климаты по заказу за чистые деньги или ценные бумаги, принимая старые климаты в уплату части долга, разумеется, с хорошей скидкой, и если их исправление не потребует крупных затрат. Потом их можно будет продавать более бедным и отдаленным странам, которые не в состоянии купить себе хорошего климата и не хотят много тратить. Мои ученые труды убедили меня, что регулирование климатов и производство новых сортов по произволу из старого запаса – вещь вполне достижимая. В самом деле, я уверен, что это делалось в доисторические времена позабытыми ныне и бесследно исчезнувшими цивилизациями.

На каждом шагу я нахожу доказательства искусственного производства климатов в незапамятные века. Возьмем хотя бы ледниковый период; неужели он возник случайно? Нисколько, – его сделали за деньги. У меня тысяча доказательств тому, и впоследствии я обнаружю их и приведу в систему. Теперь же надо вкратце описать мою

идею. Она состоит в том, чтобы утилизировать пятна на солнце и подвергнуть их контролю, прилагая оказываемое ими громадное действие к полезным целям в деле реорганизации климатов. В настоящее время солнечные пятна производят только беспорядок в мировой жизни и приносят вред, вызывая циклоны и другие виды электрических бурь, но под гуманным и разумным руководством это зло прекратится, и они сделаются источником блага для человечества.

Мой план уже составлен и начертан вполне, так что я надеюсь приобрести полное и совершенное влияние на солнечные пятна, что будет достигнуто также коммерческим путем; однако я не стану разглашать подробности до получения патентов на мое изобретение. Это предприятие включает в себе миллиарды денег, а главное, не требует больших затрат и станет приносить мне доходы через несколько дней, самое большее, через несколько недель. При таком благоприятном обороте дел я могу заплатить чистыми деньгами за Сибирь, как только заключу торговую сделку с русским правительством, и таким образом моя честь и мой кредит будут спасены. В успехе предприятия решительно нельзя сомневаться. Затем я желал бы прибегнуть к твоему содействию, майор Гаукинс. Надеюсь, что ты не откажешься отправиться к северу, едва только получишь мою телеграмму, будь это днем или ночью. Мне нужно, чтоб ты занял все места, простирающиеся от Северного полюса к югу на многие градусы, и купил Гренландию с Исландией по самой сходной цене, пока они еще дешевы. Я намерен перенести туда один из тропиков и придвинуть холодный пояс к экватору. После того я стану эксплуатировать весь Северный полярный круг, обратив его в приятное местопребывание на время летнего зноя. Остатки же старого климата можно утилизировать на экваторе с целью умерить невыносимый экваториальный зной.

Впрочем, я сказал достаточно, чтобы дать тебе ясное понятие о поразительном характере моей схемы, вполне осуществимой и обещающей массу благотворных результатов. Я присоединюсь к вам – счастливым – в Англии, как только мне удастся продать некоторые из моих главных климатов и устроить дело с покупкой Сибири; а до тех пор дожидайтесь от меня весточки.

Неделю спустя мы очутимся далеко друг от друга: я буду на берегах Тихого океана, а вы будете плыть по Атлантическому, приближаясь к Англии. В тот день, если я останусь жив и мое великое изобретение будет доказано и установлено, я пошлю вам дружеский привет, и мой посланный передаст его по назначению, где бы вы ни находились. Между небом и

необозримой водной равниной океана я наведу громадное пятно через весь солнечный диск в виде струйки дыма, и вы догадаетесь, что это знак моей любви, и скажете: „Мельберри Селлерс посылает нам поцелуй через Вселенную“».



...

В настоящем издании сохранен стиль
опубликованного П. П. Сойкиным перевода.